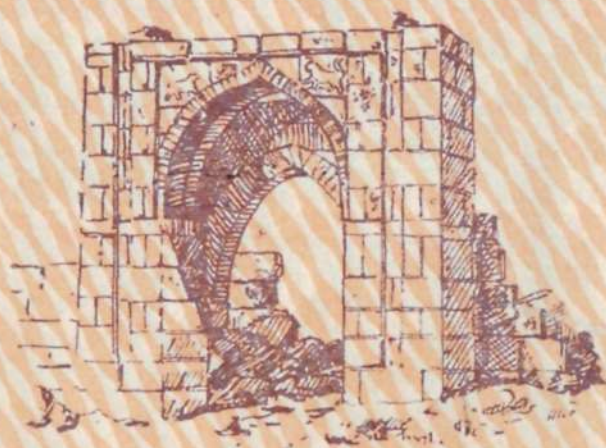


РУД. БЕРШАДСКИЙ

НА РАСКОПКАХ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1949

Руд. БЕРШАДСКИЙ

НА РАСКОПКАХ
ДРЕВНЕГО
ХОРЕЗМА

*

Государственное издательство
географической литературы
Москва—1949



1. ТЕЛЕГРАММА ИЗ ПУСТЫНИ КЫЗЫЛ-КУМЫ

Телеграмма была адресована Институту этнографии Академии наук СССР в Москве. Пришла она от директора института — руководителя Хорезмской комплексной экспедиции Академии наук, профессора Сергея Павловича Толстова. Вот что он молнировал из пустыни Кызыл-кумы:

«Открыт архив древнехорезмийских текстов на дереве, бумаге, извлечены фрагменты одиннадцати документов тчк Находки продолжаютя тчк».

В Москве стояла жара. Как всегда летом, с бесчисленныхстроек и надстроек вздымалась белая пыль известки, народу в Институте было немного — большинство сотрудников еще с конца весны кочевали по Союзу в научных экспедициях, а остававшиеся в столице старались укрыться от зноя, где только могли — преимущественно в прохладных читальных залах Ленинской библиотеки.

Обращало на себя внимание количество найденных документов — одиннадцать штук! До сих пор никому из ученых в мире не был известен ни один письменный документ древнего Хорезма; вообще Толстов сравнительно не так давно доказал существование самостоятельной древнехорезмийской письменности, а тут пошло сразу десятками! Люди же, особенно хорошо изучившие по совместному труду в науке нетерпеливую и моментально воспламеняющуюся натуру директора своего Института, добавляли:

— Учтите еще вот что: такую уймищу документов извлекли из-под земли, конечно, не в один прием и даже не в одни сутки. И если при всем этом, — уж если при

всем этом Сергей Павлович удержался от того, чтобы отправить молнию тотчас, как обнаружил первый документ, — значит, сразу увидел, что напал на что-то феноменальное!

Урочище Топрак-кала в пустыне Кызыл-кумы, где профессор Толстов откопал, как явствовало из телеграммы, архив древнехорезмийских рукописей, и впрямь представлялось каким-то золотым дном археологии. В сорок пятом и сорок шестом годах он нашел там монументальную живописную роспись стен, — целые картины: женщина, собирающая в фартук виноград и персики; женщина, играющая на арфе (а арфа была, к слову сказать, сродни ассирийской, — кто знает в какие дали еще не открытых исторических связей уводило одно это сходство!); голова мужчины — он задумался и оперся лбом на согнутые пальцы; и как естественна была его поза, как экономно и смело графическое решение картины, о каком высоком уровне всей художественной культуры говорил стиль этой картины!

В 1947 году Толстов извлек из-под напластований слежавшегося песка на той же Топрак-кале уже и скульптурные изображения, — и какие! Немудрено, если на территории древней Греции или Рима обнаруживают статуи, сохранившиеся под землей на протяжении тысячелетий, — они мраморные. А статуи, которые вновь открыл миру Толстов, были из необожженной глины! Оштукатурены алебастром, по алебастру раскраска: в углах пунцовых губ красавицы — улыбка, на нежнорумяных щеках — ямочки; чуть приподнята смоляная бровь над карим, немножко выпуклым глазом, что внимательно и приветливо смотрит прямо на вас... Лет же красавице — тысяча семьсот!

Вообще, что ни год, то открытия Толстова были все более и более значительны. Причем, как правило, им предшествовало все большее количество гипотез. Кстати, немало историков из-за этого относились поначалу к утверждениям Толстова с чрезвычайным недоверием — преимущественно как к фантазерским. Со стороны могло показаться, что тут играет роль даже личная антипатия к молодому ученому, до резкости, действительно, запальчивому и прямому. Но дело было глубже, чем в личных симпатиях или антипатиях. Ведь поначалу картина представлялась так: молодой человек, только еще декларирую-

ший, что он даст науке, в то же время уже как будто бы позволяет себе бесцеремонное обращение со множеством установившихся традиций. Например, неужто мало осно-



Рис. 1. Толстов раскопал в урочище Топрак-кала
монументальную живописную роспись стен:
женщину, играющую на арфе.

ваний имелось для того, чтобы выделиться в самостоятельные, специализированные дисциплины лингвистике, археологии, истории военного искусства? Да ведь чтобы овладеть хотя бы одной из них — нехватит отдельной

человеческой жизни! А Толстов, будучи специалистом в области этнографии, считал себя вправе по-хозяйски, как только ему было нужно, браться за изыскания в любой из этих областей, — ему и в палеогеографию ничего не стоило забраться и выдвинуть и в ней свои гипотезы!

Вот что не год и не два отвращало от почти любого утверждения Толстова многих, и достаточно крупных порою, историков. Но в конце концов, по мере того, как Толстов выкладывал на стол все больше доказательств своей правоты, причем, как это ни было удивительно — и лингвистических, и палеогеографических, и из десятка еще других дисциплин, — они, эти историки, вынуждены были соглашаться: да, хотя молодой ученый горяч, пожалуй, непозволительно, но в какой-то мере, очевидно, прав, настаивая на выдающемся месте своего древнего Хорезма в истории развития народов всей нашей родины.

Конечно, это было признание. Но Толстова, тем не менее, оно не удовлетворяло. Как это: «его» древнего Хорезма? Нет-с, будьте любезны признать, что и — вашего! Разве можно относиться, как к заурядному эпизоду истории, к империи, связи, а значит и влияние которой распространялись от Аральского моря до Венгрии на западе, до берегов Индии на юге, Прикамья на севере, Китая на востоке? К державе, при дворе правителей которой расцвели самые выдающиеся научные гении средневековья — ал-Бируни, Авиценна? Ведь не могли же расцвести такие гении в историческом захолустье! К стране, народ которой тысячелетиями отстаивал — и успешно отстаивал! — свою независимость против всех и всяких чужеземных завоевателей, — а среди них были Александр Македонский, гунны, арабы! Это — во-первых.

А во-вторых, следует доказать в таком случае, что какой-то иной стране, а не Хорезму обязано человечество, например, наукой, именуемой «алгебра», иному народу, а не предкам нынешних узбеков и кара-калпаков. Только ведь это нельзя доказать! Ибо факт, что именно в этом северо-западном углу нынешней Узбекской республики в свое время плодотворнее всего скрестились на почве богатейшей местной науки индийская алгебра и греческая геометрия, синтез которых лежит у истоков современной математики. Произвел же впервые этот синтез хорезмиец Мухаммед ибн-Муса ал-Хорезми. Пора восстановить истину. Тысячу лет его называли: «арабский

ученый». А этот «араб» даже в имени своем подчеркивал, кто он: «ал-Хорезми», т. е. хорезмиец. Одно из слов заглавия его трактата, где впервые были сформулированы положения современной алгебры, звучало: «ал-Джабр». Вот откуда и само название «алгебра».



Рис. 2. Статуи, которые вновь открыл миру Толстов, были из необожженной глины. Голова предполагаемой супруги хорезмшаха Вазамара (III в. н. э.).

Отнестись ко всему этому лишь как к малозначительным историческим анекдотам? Нет, наоборот, — если от такой мощнейшей цивилизации не осталось никаких письменных памятников, то, значит, тем настойчивее следует пытаться разыскать их и воспроизвести историю подобной страны с полнотою, которой она заслуживает. Кто знает,

чем еще, может быть, обязан мир Хорезму да и вообще народам Средней Азии?

Как только в нашей редакции стало известно, что Толстов обнаружил первые древнехорезмийские письменные памятники, я вылетел на раскопки.

Вечером того же дня, покрыв две тысячи восьмьсот километров, был в Ташкенте, на другой день к полудню, пролетев еще тысячу сто километров, добрался до Нукуса — столицы Каракалпакской автономной республики.

Земля, наблюдаемая с большой высоты, была лишена подробностей. Запоминалось лишь то, что уж очень бросалось в глаза. Например, что вскоре за Куйбышевом земля совершенно перестала зеленеть — пошла сплошь серо-желтая.

Ослепительно ударила в глаза синь Аральского моря. Даже у самых берегов не смогло это море дать жизни растительности.

Близ Арала наш самолет производил посадку — в аэропорту Джусалы.

Отсюда бы до Нукуса по прямой — тут меньше пяти-сот километров, между тем как по трассе через Ташкент — около двух тысяч. Но дело в том, что по прямой пришлось бы лететь через всю пустыню Кызыл-кумов, — вот они, тут, начинаются рядом. Постоянной авиатрассы через Кызыл-кумы нет.

За какими все-таки крепкими запорами лежал этот заповедный древний Хорезм!

От Джусалы до Ташкента, а там через Чарджоу до Нукуса летим над горами, над пустынями, и снова над горами, и снова над пустыней. Только и разницы, что пустыня слева от Аму-дарьи, вдоль которой летим от Чарджоу до Нукуса, называется Кара-кумы, а справа — Кызыл-кумы. Вдоль берегов реки — лента оазиса. Но как высоко мы ни поднимаемся, пустыни ни разу не выходят из поля нашего зрения.





2. У ЦЕЛИ. НУКУС, ПУСТЫНЯ, НЕГРЫ

Почтовый адрес Толстова, запасшись которым я оставил Москву, был: «Нукус, до востребования». Я и отправился в Нукусе на почту: если из лагеря приезжают на почту за корреспонденцией ежедневно, тогда дождусь нарочного и отправлюсь на Топрак-калу вместе с ним. А если дело обстоит и не так, то все равно на почте, наверно, знают, как скорее всего добраться до раскопок. На моей двухверстной топографической карте их не было.

Действительно, девушка в окошке «Прием заказов и выдача до востребования» экспедицию Академии наук знала:

— Как же, как же, от них постоянно кто-нибудь приезжает, эта Топрак-кала где-то в пустыне, далеко. Чаше всего шофер Коля. Не знакомы? Ну, неважно. Но жаль — они бывают нерегулярно, как раз позавчера заходили...

Я задумался. Это обидно — мчаться сломя голову из Москвы, а потом у самой цели засесть неизвестно насколько, карауля на нукусском почтамте шофера Колю.

Девушка, увидев, что я огорчился, пришла мне на помощь.

— А знаете что, попробуйте зайти к товарищам Джапакову или Сеитову. Вы из Москвы, верно? Может быть, они вам помогут доехать до экспедиции скорее.

— Кто это — товарищи Джапаков и Сеитов?

— Джапаков — председатель нашего Совета Министров, Сеитов — секретарь обкома партии. Это недалеко — полтора квартала прямо, потом налево, и сразу увидите:

двухэтажный дом с красным флагом. Там и обком, и Президиум Верховного Совета, и Совет Министров, если вам нужно. А если решите, не заходя туда, отправиться на автобусную станцию, то это — в другом конце города. Только на Топрак-калу машины не ходят, это я вам говорю авторитетно.

Девушка продолжала наставлять меня еще, но я ее больше не слушал. Пожалуй, она права. Чтобы не терять времени, надо отправляться в обком.

Я не собирался беспокоить секретаря обкома, но едва ему доложили, откуда я и что я разыскиваю экспедицию Толстова, как он сам пригласил меня зайти. Он оказался превосходно осведомлен обо всех достижениях экспедиции.

— Как же, это общая наша радость,—и всей советской науки, и наша национальная особенно. Знаете это злобное утверждение, что, будто бы, народы Средней Азии, и в частности мы — кара-калпаки, узбеки, не потому были на протяжении веков отсталыми народами, что чересчур долго служили объектом завоеваний, а потому, что-де вообще неспособны к самостоятельному развитию? Что всем, что мы имели, мы обязаны лишь грекам, арабам, персам, но только не самим себе? Конечно, это колонизаторская клевета на наши народы; конечно, не будь у наших предков завидного, богатого хозяйства, а значит и высокой культуры — завоеватели отнюдь не зарились бы на нашу страну, — а ведь нас старались завоевывать постоянно. Но ведь куда лучше, если это можно доказать не только логически, но и предъявлением, так сказать, вещественных доказательств. Не было своей культуры, утверждаете? Простите — вот вам собственная письменность, существовавшая и до персов, и до арабов, вот вам наши величайшие каналы, существовавшие не только до арабов, но еще и до греков, вот вам наши города, статуи, наука, герои, вся наша история, — вот она!

В начале нашего разговора товарищ Сеитов, молодой еще, стройный кара-калпак в строгом синем костюме, который, несмотря на жару, был застегнут на все пуговицы, по-восточному много, — как всегда, когда приветствуют гостя, — улыбался мне, но тут эта обязательная улыбка сбежала с его лица, оно стало суровым, и он показался мне не столь уж молодым, как вначале.

— История в вещах, в документах, в точных датах! Но до всего этого надо докапываться, — вот именно, выкапывать! Как же мы можем не знать, где экспедиция Академии? Это же наше кровное дело!

Но, к сожалению, относительно того, как добраться до нее, он смог мне посоветовать лишь почти то же, что девушка на почте: остановиться в общежитии обкома, где, кстати, останавливаются и все товарищи из экспедиции, и ждать там их машины. По его сведениям, она должна была прийти завтра.

На счастье, она пришла час спустя после моего разговора с Сеитовым, а еще через два, захватив корреспонденцию на почте, два тюка ваты для каких-то экспедиционных надобностей и ящик нарзана из аптеки, шофер Коля и я с ним катили в Топрак-калу.

Я очутился в пустыне впервые в жизни. И что больше всего поразило меня — это то, что она оказалась точно такой, какой представлялась с детства по картинкам учебника географии. Все было: шевелящиеся волны песка до горизонта, непрерывно змеящиеся под ветром муаровые разводы на барханах, всего два — и как будто ножом друг от друга отрезанных — цвета: синий, как синька, — неба, и такой же сплошной, изжелта-серый — земли.

Только не так пустынна оказалась пустыня, как на картинках моего учебника. То заяц улепетывал от нас вдоль гребня песчаной волны по теневой ее стороне. Хотя и странный заяц — желтый, — но, тем не менее, взаврадашний. То мышь-песчанка кидалась со всех ног в норку. Нет-нет, да проплывала за дальним барханом высокомерная голова верблюда. А над всеми ними и над нами — над всей пустыней — парил орел. Он лежал, распластав крылья, на восходящих потоках воздуха, которые подымались вверх явственно, как растворившийся сахар со дна стакана.

Вот где сразу становится ясно, почему говорят: орлиный взор! — с высоты, на которой он парит, разглядеть песчанку!..

Звонко гудят телеграфные провода — мы едем вдоль линии.

Орел, должно быть, свыкся с их гулом — он сел закусывать песчанкой на столб.

Иногда пески сменяются таковыми — гладкими, как блюдо, громадными глиняными плешинами. Когда ветер,

бывает, стонит в сторону песок со всего такыра, то кажется, что эта обливная глиняная поляна не естественно-го происхождения, а сделана такой по чьему-то определенному намерению.

Едва наша полуторка въезжает на такыр, — стрелка спидометра тотчас подскакивает к шестидесяти километрам, а шофер Коля закуривает и принимается мурлыкать: «Была бы только тройка, да тройка порезвей...» В Москве жена ему родила первенца, которого он еще не видел, и он очень тоскует.

К бортам полуторки привязаны длинные деревянные шесты. Коля их называет «шалманами», но добавляет, что это — специально местный термин.

Однако изрядно ж появилось в пустыне автомашин, если возникли уже специальные местные термины, относящиеся к ним!

Мне сначала было непонятно назначение этих шестов, но Коля объяснил мне, что когда машина начинает «шалманить», т. е. буксовать, то их подсовывают под колеса. Вскоре, к слову сказать, я узнал на практике, как это следует проделывать.

Ночь в пустыне наступает стремительно. Как только село солнце, из-за противоположной стороны горизонта вдруг начинает шириться тревожное багрово-оранжевое зарево, одновременно холодный сквозняк прохватывает землю, зарево обнимает уже чуть ли не четверть небосвода. Становится все холоднее, холоднее... В этот момент в центре пожара над горизонтом появляется невообразимо громадный край какого-то незнакомого пунцового светила, затем все большая часть его. Да это же луна!

Да, она. И когда восходит вся, — сразу меркнет зарево, так торжественно возвестившее ее появление, уменьшается и сама она, превращается во всегдашнюю нашу серебристую луну.

Колю ночь не останавливает, — он с экспедицией Толстова уже третий год в этих местах.

Тычет пальцем в какую-то тень. Развалины? Кажется, да.

— Видите? Это Кызыл-кала, в переводе — Красная крепость. А от нее до наших уже только три километра. Приехали!

Я готов начать беседовать с Толстовым или любым сотрудником его экспедиции об их находках сию же ми-

нуту и беседовать час — так час, сутки — так сутки, — сколько они согласятся. Первым делом, конечно, попрошу показать мне письменные документы, о которых телеграфировал Толстов. Где этот архив? Как он выглядит? Хочу немедленно видеть и самого Толстова. А что собою представляют раскопки? И как их ведут? Этот таинственный замок в пустыне — Топрак-кала?

Луна отбрасывает синеватые зыбкие тени. Невдалеке от лагеря — какая-то нето скала, нето продолговатый холм с причудливыми зубцами поверху. Должно быть, последнее.

Лагерь спит. Даже на шум машины никто не показывается.

Пять одинаковых палаток научных сотрудников в ряд, чуть поодаль — разномастные палатки рабочих экспедиции, колхозников из близлежащих колхозов.

Бродят по лагерю тихие серые ослики с умными печальными глазами...

— Коля, вы думаете и Толстов спит?

— Не знаю. Но только к машине не выйдет. Раз уже был отбой, — всё! Он насчет дисциплины строг.

— Скажите, а архив, который откопали, вам не довелось видеть?

— Как это можно — тут работать, и — «не довелось!...». Вы, видно, еще не представляете себе Сергея Павловича. Он же всех вокруг себя своей страстью заразит, а уж чуть заметит, что ты и сам начал с любопытством озираться — что у тебя вкус к науке, так сказать, появился, то тут ему никакого времени не жалко, чтобы с тобой беседовать. Час будешь его спрашивать — час будет объяснять, два часа — два часа. Кто я? Водитель! А хотите, я об истории древнего Хорезма, царе Вазамаре и так далее, и тому подобное целую лекцию вам прочитаю? Едет со мной Сергей Павлович в кабине, я его спрошу — всё расскажет: и какие заблуждения были, прежде чем до чего-нибудь определенного дошли, и как сам заблуждался.

— Значит, интересный архив?

— Архив? Архив — как вам сказать... Пока ведь не прочитано из него ничего — письменность нерасшифрованная... Но вот вчера головы негров тут обнаружили, — так перед этим, по-моему, и архив отступить может.

— Негров? Каких негров? Где нашли?

— Каких! — обыкновенных: черных, губастых, с курчавыми волосами. Ну, в общем, негры и негры; как полагается.

— Ничего не понимаю! Головы негров?

— Ну что вы, — такое смертоубийство! Нет, целые фигуры. Скульптуры. Вместе с другими скульптурами. Но тоже — первые века от рождества христового.

На севере Средней Азии, почти у Аральского моря — негры. Откуда они тут?! Никогда ни о чем подобном раньше не слыхал и, если бы мне сказали об этом где-нибудь в другом месте — наверное, даже не поверил бы!

Коля видит мою растерянность и смеется.

— Вот, вот, — как вчера с Сергеем Павловичем было. Он тоже сперва, когда ему сказали: «Сергей Павлович, негра откопали!», даже закричал: «Что вы выдумываете, какого негра, где — негра?» А потом, когда добежал до раскопок, увидел сам, — сел на корточки и говорит: «Очень интересно. Ни-че-го не понимаю...». Ну, спать!

Коля дал мне спальный мешок, сам забрался в другой. Он уснул моментально, а я еще долго не мог опомниться. Нет, только подумать: негры у Аральского моря! Да что ж это значит?!





3.- ЗНАКОМСТВО С ТОЛСТОВЫМ

Просыпаюсь от того, что слышу голос, раздающийся рядом:

— Только позавчера вылетел из Москвы? Ловко! А, интересно, писем из Института никаких мне не привез, не знаете?

— Не знаю, Сергей Павлович. Давайте, разбуду его.

— Нет, нет, что вы, Коля! Я просто думал, может быть, уже не спит — ведь поздно... Все, например, уже позавтракать успели.

Неужели так поздно? Высовываю голову из спального мешка и вижу прислонившегося к грузовику высокого человека с живыми с искоркой, мягкими глазами, в белом парусиновом комбинезоне, в белом же тропическом шлеме с двумя козырьками: спереди и сзади — «здравствуй — прощай». Лицо табачно-желтое от солнца, жидкие русые усы, которым предоставлено расти, как им хочется. Человеку лет сорок, не больше — лицо из тех, что не обманывают насчет возраста.

Под комбинезоном — голая грудь: жара уже и сейчас, с утра. Комбинезон обмят, как гимнастерка на бывалом солдате. Вообще, с первого взгляда можно определить, что этот человек здесь — в жаре, в пыли, в пустыне — чувствует себя превосходно, как дома.

Это Толстов.

— Ах, вы уже проснулись? Здравствуйте, с приездом! Не разбудил вас случайно? Ну, очень хорошо. Позвольте предложить вам завтрак.

Толстов потчует от души. Хотя он уже завтракал сегодня, — я ведь знаю это, — но, чтобы не обидеть гостя, закусывает со мной еще раз.

Тем не менее, мне не до завтрака. Хочется поскорее увидеть негров, о которых рассказывал Коля, отправиться на раскопки, своими глазами посмотреть на документы из архива.

— Сергей Павлович, сыт, честное слово, сыт!



С. П. Толстов

Он смеется.

— Ну, хорошо, хорошо. Что показать вам сначала?

— Что хотите!

Должен признаться, что я не только в пустыню впервые попал, но и с практикой археологов тоже лишь впервые столкнулся. По простоте душевной я предполагал,

что архив—это нечто чрезвычайно громоздкое,—если и не залы полок с пудовыми томами, то, во всяком случае, что-то весьма похожее на то.

Профессор же Толстов, вслед за которым и я ныряю в его палатку, смахивает на койку с небольшого ящика, служащего, очевидно, и столом, груды каких-то книг, рукописей, гранок, пачек папирос и бог знает чего еще, открывает крышку этого универсального стола и не без торжественности произносит:

— Ну, вот, прошу...

В ящике лежит штук десять вскрытых коробок с этикетками: «Лапша — 2 килограмма», «Лапша—1 килограмм». И вот, из каждой коробки Сергей Павлович принимается извлекать большие комки ваты, которые разворачивает осторожными плавными движениями. В вате лежит то какая-нибудь свернувшаяся в трубочку слоистая, изгрызанная червями, пятнистая, почти черная береста, то длинная, еле сохраняющая форму, трухлявая щепочка — впрочем, тоже, как и береста, испещренная пятнами. И еще щепочки, еще береста.

Что это?

Толстов смеется. Это и есть то, что сегодня следует назвать архивом древнехорезмийских письменных памятников.

Действительно, когда я всмотрелся внимательней, то увидел, что «береста» — не береста, а чудесно когда-то выделанная кожа, что пятна на ней — не пятна, а письмена. Совершенно неизвестные мне по начертанию, во многих местах стершиеся настолько, что о существовании их скорее можно лишь догадываться, но, тем не менее, письмена, именно они. А почему — архив? Конечно же, архив! — все это найдено в одной, всего лишь в одной комнате дворца, и находки продолжают, — что же это?

Да, как это ни было далеко от современного представления об архиве, однако это было именно целое собрание документов III века н. э., покрытых письменами одного и того же алфавита. Еще неизвестно было, что значит каждое слово, что представляет собою каждый документ, на какую он тему, кто его автор, но и при всем этом победа Толстова была громадна. Ведь вообще только десять с небольшим лет назад он впервые в современной науке выдвинул гипотезу, что неизвестные письмена на нескольких неизвестных монетах, хранившихся в разных музе-

ях, — письма не ни какие иные, как древнехорезмийские, тем самым утверждая, что существовало и такое самостоятельное государство, и такая самостоятельная письменность. Далее он предложил также свой вариант чтения этих писем. Правда, полного алфавита он предложить не мог — варианты надписей на монетах были ограничены. Монеты лежали нерасшифрованными десятилетия, а первая из них, ставшая известной нумизматам, лежала нерасшифрованной около ста лет. Ничего о них не было известно: ни какого они государства, ни лица каких властителей выбиты на них, ни какого они века, а об установлении года их чекана и мечтать как будто не приходилось.

И вот, даже тогда Толстов выдвинул утверждение о существовании самостоятельной древнехорезмийской письменности. А теперь он, наконец, отыскал под напластованиями хорезмийской земли и документы III века с теми же письменами!

Он еще и еще раз всматривается в лоскутки и обломки, которые показывает мне. О большой щепе, покрытой несколькими десятками писем, которую держит на ватной подстилке, говорит:

— Думаю, вот этот черновик окажется чрезвычайно существенным документом.

— Чем существенным?

— По-моему, из него удастся выяснить, каково было административное деление Хорезма и даже больше: удельный вес каждой из областей и крупных городов.

— Простите, откуда это видно? И — с самого начала: мне ведь даже непонятно, почему вы считаете это черновиком?

— Ну, это-то проще простого, документ — на дереве.

— Что ж из того?

— Как — что? Для чего еще применяли бы писаря самые дешевые материалы? А это писал безусловно писарь: писарская скоропись.

— Да, но разве дерево в пустыне могло считаться дешевой?

Я вспоминаю, что только вчера видел в Нукусе: хотя уже наступила пора листопада, на улицах не было ни единого опавшего листика, — домохозяева аккуратнейшим образом подбирали их, топливо тут на вес золота.

Толстов снова улыбается.

— Это вы по инерции представляете себе древний Хорезм таким, как сегодняшней. А тогда здешние места болотами были окружены, тут шумели леса! Не удивляйтесь, что это так: я могу опереться, как на доказательство, не только на эту щепку, послужившую черновиком, но и, скажем, на кости лесных животных, которые попадают нам тут при раскопках, — историк ведь ничем не пренебрегает, ему по верхам скакать права не дано... Заодно постараюсь ответить вам и на следующий ваш недоуменный вопрос — вы ведь, наверное, думаете, что я фантазирую, когда говорю, что речь во фрагменте будет об административном делении Хорезма, а в то же время признаюсь, что даже алфавит, на котором документ составлен, знаю лишь с пятого на десятое. Верно? Но все-таки думаю, что догадка моя имеет резон. Смотрите: видите расположение строк и пропуск между началом и концом каждой строки? Совершенно явно: идет перечисление, какой-то реестр — того-то, мол, столько-то, или «оттуда-то — столько-то». Действительно, вот эти знаки в конце нижней строки читаются только как число, — я полагаю, вам пока неважно, какое именно; но то, что это число, — безусловно. Итак, перечисление. Чего же? На это дает ответ другая строка, но уже не конец ее, а начало. Это — наименование города, входившего в состав Хорезмского государства на протяжении всей известной нам истории Хорезма. Значит, весьма вероятно ожидать, что начала других строк также представляют собой названия городов или областей. Тем более, что этот черновик документа найден в одном месте с документами, переписанными набело, к тому же — во внутренних покоях дворца властителя Хорезмского государства, — скорее всего, таким образом, это черновик государственного документа (опять-таки то, что он написан писарским почерком, еще раз свидетельствует в пользу этого). Ну, а на какую тему мог быть, предположительно, составлен государственный документ с перечислением городов и областей страны и с цифрами против каждого и каждой из них? По аналогии с другими документами такого типа могу думать, что это — или повеление городам и областям выставить в распоряжение хорезмшаха такие-то контингенты войск или рабочей силы для ремонта каналов, может быть — перечисление суммы налогов, а также еще что-нибудь в подобном роде. Но если это так, то мы

узнаем не только административное деление, но и удельный вес каждого из перечисленных городов и областей¹.

— Но, простите, Сергей Павлович, ведь это все — по-камест только догадки.

— Совершенно верно. Однако мудрено выкопать из-под земли готовый учебник истории, да чтобы в нем к твоим услугам был также ряд дополнительных глав по любому интересующему вопросу. Конечно, догадки! Более того: осмелюсь утверждать, что историк, у которого по поводу каждого вновь открытого факта не возникают сотни и сотни догадок, — это не историк, а человек кротовьего полета мысли! Мы можем быть кротами лишь до той поры, пока копаем землю. А когда что-нибудь уже выкопали — грош нам цена, если не сумеем воспарить над этим орлами. И чем бы мы тогда отличались от буржуазных археологов, самые честные из которых пытаются удержаться сейчас на позиции: мое дело, мол, только обнаружить древность и описать ее, а выводы? — выводы меня не касаются!

— А менее честные чем занимаются, Сергей Павлович?

— Менее честные? Тем, что по заказу финансирующих их покровителей копают преимущественно там, где пахнет нефтью и где предполагается создавать военные базы — вот чем! И превращают археологические работы в ширму для строителей военных аэродромов. Впрочем, ну их всех к дьяволу пока что; пойдете на раскопки!

¹ По возвращении с раскопок в Москву и более детальном, чем на месте, исследовании «реестра» Толстов вынужден был признать несостоятельной свою первоначальную гипотезу, что это — «реестр». Сейчас у него насчет этого документа иные соображения, и, вероятно, в одной из своих ближайших статей он их изложит.





4. ДРЕВНИЕ ХОРЕЗМИЙЦЫ И ИНДЕЙЦЫ-ИРОКЕЗЫ

Над Топрак-калой густо курится пыль, взметаемая сотнями лопат.

Грандиозное впечатление производят топрак-калинские руины! Вокруг — беспредельная плоская желтая пустыня, и вдруг посреди нее — прямоугольник каких-то колоссальных покатых валов. Впрочем (это видно сразу), они образовались не до того, как человек возвел здесь отвесные крепостные стены, а лишь после этого: вал поднимается над окружающей местностью метров на двадцать (это высота, примерно, шестизэтажного дома), но кое-где еще и над ним вздымается метра на два, на три упрямый зубчатый гребень — уцелевшие остатки первоначальной стены.

Сколько столетий надо было ветрам пустыни бить в подножье стены песчаным прибоем, чтобы наместе не оплывающий под ногою двадцатиметровый вал!

Он тянется метров на пятьсот в одном направлении, метров на триста пятьдесят в другом, — он огораживает такую площадь, что ее хватило бы для целого города. Однако действительно ли за валом был город? Может быть, иное: дворец царя? Или цитадель? И над какой округой все это господствовало? Конечно, не над пустыней, — для пустыни было бы достаточно и крепостцы. Значит, здесь тогда был оазис? И скрещивались дороги из разных земель? Как трудно представить себе это... Пылили по ним кони... Наверно, не только кони друзей, — от друзей не укрываются за стенами, по верху которых можно ездить на колесницах... Журчала вода в арыках, листва урюковых деревьев отбрасывала на землю резную

тень, белый пух летел с них на зеленую мирную воду. Но когда дневной зной сменялся холодом ночи — накрепко замыкались ворота в городской стене, и бессонная стража на башнях зорко, с 25-метровой высоты, смотрела окрест через бойницы: не вспыхнули ли где-нибудь подозрительные костры, не вражеские ли? Как много всегда охотников до чужих богатств, как жадно щурятся

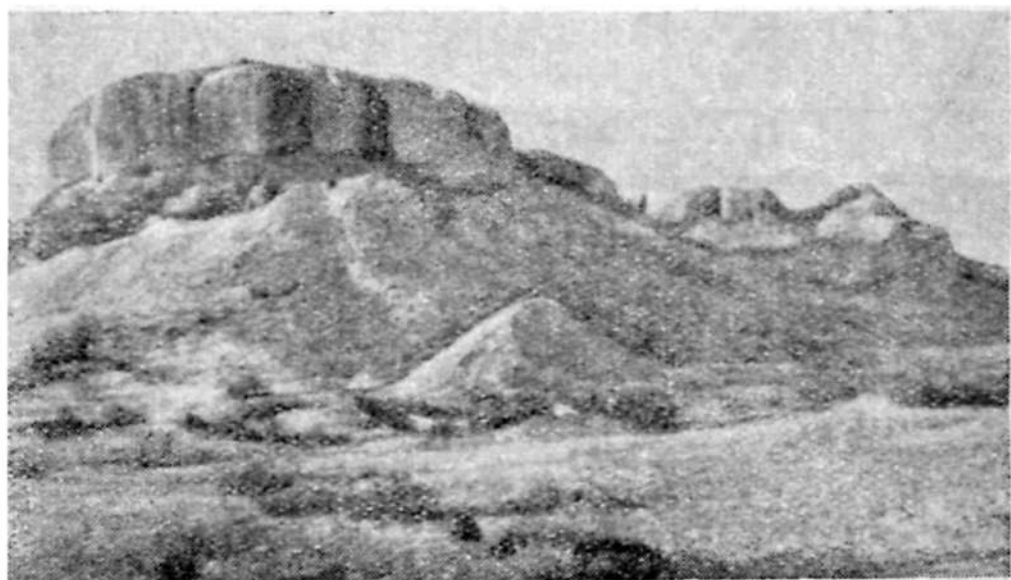


Рис. 4. Вокруг—беспредельная плоская желтая пустыня, и вдруг посреди нее—прямоугольник каких-то колоссальных покатых валов.

глаза кочевников на добро людей оазисов! Разве не проще кочевнику ограбить, чем заниматься меной? До рассвета не смыкала глаз стража на башнях...

Взбираюсь по склону наверх. Неужели разрушительное время не сохранило за валами ничего?

Вот и гребень вала. И невольно застываешь, потрясенный раскрывшейся картиной. Пусть немного пощадили века, но как выразительно даже это немногое!

Почти отвесным обрывом обращен внутрь городища северо-западный угол его, — один только он обращен внутрь обрывом, — глиняный массив высотой приблизительно в пять наших современных этажей и такой площади, что на нем размещались три башни дворца хорезмского шаха. Этот постамент поднимается над всем, что находилось внутри крепостных стен, столь же круто, как

сами эти стены поднимались над окружавшим их оазисом.

За одними и теми же укреплениями укрывались в Топрак-кале и дворец шаха, и город. Однако дворец был высоко взнесен над городом, башни его превосходили башни городских зданий настолько же, насколько великан превосходит ребенка.

От города сейчас не осталось ничего: только поросшие жестким тамариском невысокие бугры на месте башен да теневые контуры от стен домов. Эти контуры удается различать на поверхности городища в косых лучах раннего или заходящего солнца. Сперва кажется даже, что это обман зрения, лишь потом убеждаешься, что одни и те же контуры проступают на поверхности в косых лучах постоянно. Так причудливо сохранился план города, его улиц и переулков, даже планировка отдельных комнат внутри зданий! (Кстати, это удалось сфотографировать. Особенно удачными оказались снимки, сделанные с самолета. Авиация неожиданно сомкнулась с землеройкой-археологией.)

План города Топрак-калы на редкость своеобразен. Во-первых, бросается в глаза, как город резко и ровно был разделен надвое центральной улицей. Она шла от городских ворот и упиралась в массив дворца. По каждую из ее сторон стояли отделенные друг от друга узкими переулками всего по четыре-пять зданий громадных размеров: в длину метров до полутора, шириною — до девяти.

В каждом из зданий (по всей видимости — одноэтажных) можно насчитать до двухсот комнат, самое меньшее комнат сто пятьдесят, причем иногда, к тому же, два здания разделены переулком, шедшим между ними не до конца, и, таким образом, соединялись перемычкой в одно. Какой же численности семьи населяли такие громадины?

Нет, это не могли быть семьи. При уровне тогдашних запросов человека ни одной семье не могло понадобиться такого количества хором. Это были не семейные дома, а здания общинно-родовых поселений, — вот в чем разгадка и их размера, и столь резкого деления города надвое, и того, почему в конце центральной улицы, на месте какого-то обширного помещения, примыкавшего непосредственно к дворцу шаха, но находившегося, однако, ниже

его, обнаружено так много слезавшейся белой золы.

Это жгли священный вечный огонь в городском храме огня! И жречествовал здесь, возможно, сам хорезмшах, спускавшийся для совершения религиозных церемоний вниз из своего дворца. Во всяком случае, дворец вместе с этим храмом были отделены от остального города одной особой общей стеной.

Еще явственны связи этого города с временем, когда именно глава рода, совмещая в своем лице также и функции жреца, постепенно приобрел постоянную власть над родом, и эта власть, по мере накопления им все большего богатства, превращалась в государственную, а сам он — в царя. Вместе с тем усиливалась и его духовная власть. Прежде он был только жрецом, т. е., так сказать, лишь уполномоченным рода по переговорам с высшими силами, теперь же он требует, чтобы на него самого смотрели, как на всемогущее божество. Дворец его возносится над всеми остальными жилищами соплеменников, и титуловать его уже надо, как бога.

Знакомая картина! Того же требовали фараоны Египта.

Так же, совместно с городскими храмами, строились грандиозные дворцы властителей Ассирии (кстати, и архитектурно близкие Топрак-кале). Неважно, что Топрак-кала отделена от Ассирии многими веками, — схожие исторические условия привели к одинаковым следствиям.

Ну, а деление города надвое — что оно означало, в чем заключался его смысл?

Не случайно было и оно.

Есть крылатая энгельсовская фраза о «социальных ископаемых» — о явлениях, по которым мы, как по окаменелостям, читаем историю бесконечно далеких времен.

Мы сплошь и рядом обращаемся к пожилому мужчине, которого не видели никогда в жизни: «отец»; к пожилой женщине: «матушка»; к ребенку: «сын». Кое-где еще на нашем веку сохранился обычай кулачного боя «улица на улицу». Из дали каких времен все это до нас дошло?

Эта даль имеет прямое отношение к разделению Топрак-калы на две части.

Наше обращение «отец», «матушка», «сын» идет от тех времен, когда семьи в сегодняшнем ее понимании не было и когда все женщины одного рода, если только по возрасту человек годился им в сыновья, считались его матерями, а все мужчины рода — его отцами. От тех же времен «улица на улицу».

Самое раннее из всех достоверно известных делений племени—это деление его на фратрии—основной элемент родовой организации, «первоначальный род». Племя было чрезвычайно сплоченной группой, одноплеменники очень тесно и постоянно были связаны друг с другом. У них были общие угодья и общие промыслы, общие враги, общий язык, одни и те же законы, одни и те же верования.

Деление племени на фратрии, браки внутри которых были воспрещены строго-настрога, хотя и способствовало укреплению племени, но в то же время создавало известное противопоставление фратрий одна другой. Люди одной фратрии, чувствуя себя, можно сказать, близнецами с людьми другой фратрии и не мысля себе своего существования без них, в то же время начали осознавать и свое непреходимое в чем-то отличие от них. Входит в привычку меряться силой фратриям — и характерно, что бой, хотя ведется без всякой злобы, но в полную силу; если в результате его кто-нибудь даже падет убитым, то убийца не считается нарушившим закон, — а ведь не было тогда страшнее преступления, чем убийство соплеменника!

Этот этап развития человечества всеобщий. У нас, у русского народа, до самого недавнего времени дошла от него «улица на улицу». У других народов бои, хотя принимали иную форму, но также сохраняли свое явно фратриальное происхождение. Например, латиняне древнего Рима — жители кварталов Священной дороги, с одной стороны, и Субуры, с другой, ежегодно устраивали между собой борьбу за голову коня после осеннего жертвоприношения коня. В Джурджане в X веке (это уже Средняя Азия) жители двух половин города, разделенных между собой рекой, дрались всякий раз после ежегодного праздника жертвоприношений за голову верблюда.

Праздник этот, к слову сказать, считался к тому времени в Джурджане уже мусульманским, но разве не

очевидно, что и он и обычай, ему сопутствовавший, существовали задолго до возникновения мусульманства, этой последней мировой религии.

Религии вообще возникали ведь не на пустом месте. Хотя и в невероятно искаженном виде, но в основе любого религиозного мифа лежат представления непременно о реальном — об окружающем конкретном мире, который человек каждодневно подчинял себе. Но вместе с тем человек понимал, что сам зависит от этого окружающего мира, — зависит так же, как животное или растение, которых он добыл себе в пищу. Он поначалу и считал животных и растения совершенно равными себе, а себя — им; считал, например, что отцом человеческого рода может быть и медведь, и волк, и какое угодно другое животное.

Неимоверно искаженные, в основе каждого религиозного мифа лежали представления человека о реальной природе, с которой сталкивались племя и род, о реальных отношениях, существовавших между людьми внутри племени и рода, о связях племени и рода с другими племенами и родами. И если этап, проходимый в своем развитии одним племенем, был одинаков с таким же этапом, проходимым другим племенем, то и религиозные представления их не могли не совпадать, — по крайней мере, в основном.

Близко ли от Средней Азии до Северной Америки! — а древнейший миф зороастрийской религии о сотворении мира, возникший здесь, в Средней Азии, — о братьях-близнецах, в то же время всегда враждующих между собой, — Ормузде и Аримане, напоминает мифы, скажем, североамериканских индейцев-могавков из племени ирокезов о братьях-близнецах Иоскеге и Тавискароне.

Заимствование? Нет, о нем и речи быть не может! — обязательность всеобщих законов развития общества для любого отряда человечества, — вот что!

И кулачный бой, и деление Топрак-калы на две части, и ирокезские Иоскега и Тавискарон — это все от одного корня: от первого разделения племени.

...Сколько веков назад исчезло здание человеческих отношений, в основе которого лежало разделение племени на фратрии! Но как в косых лучах солнца все-таки можно еще различить архитектурный план Топрак-калы,

так под прожекторами фактов, в конце концов, проступает на поверхность и социальная структура этого города.

— Однако, — говорит Толстов, — сказать вам, чего больше надо перевернуть — песка и глины, чтобы откопать какого-нибудь «негра», или книг, чтобы его объяснить, — я, право, затруднился бы!





5. -КОГДА У АРХЕОЛОГА НАЧИНАЮТ ДРОЖАТЬ РУКИ

Насчет книг — это, конечно, Толстову виднее. Но что касается песку и глины, то это уже и я могу подтвердить. Наверное, не тонны, а сотни тонн тут перекапывают.

Весь дворец окутан рыжим облаком пыли. Раскопки ведутся сразу в нескольких горизонтах, правда, только на месте дворца,—остальное городище пока не трогают. Но и здесь хватает работы больше чем семидесяти человекам одновременно. Раскапывают второй этаж дворца, парадный, где найдены все росписи на стенах, все скульптуры и где находились все торжественные залы. Раскапывают первый — здесь размещались всякого рода мастерские, подсобные помещения; так как помещения освещались лишь через люки в потолках (окон не было), то первый этаж был почти темным. Расчищают чело стены, окружавшей дворец, — вход во дворец пока не найден, а он не мог быть заурядным и, следовательно, безусловно даст что-нибудь интересное. Хорезмшах явно возвел свой дворец с расчетом, чтобы он подавлял величием. Так неужели вход, по которому удаивались подниматься внутрь такого дворца, был будничным!

Кстати, к какому веку — точно — относится постройка Топрак-калы? Известно ли это?

Да, известно. Мне читают небольшую лекцию, как это было установлено, после которой я начинаю понимать с такой отчетливостью, как никогда прежде, почему историк только тогда приобретает право именоваться историком, когда научается ставить во взаимную связь все без исключения события и факты, с которыми сталкивается,

и почему только такой подход к науке способен обеспечивать победу за победой.

Датировать дворец удалось окончательно после того, как в нем раскопали «зал царей». В этом зале, наряду со статуями с обнаженными головами, посчастливилось найти также два сохранившихся скульптурных головных убора (отдельно от голов). Особенно характерен был один из них — тяжелая корона, изображавшая белого

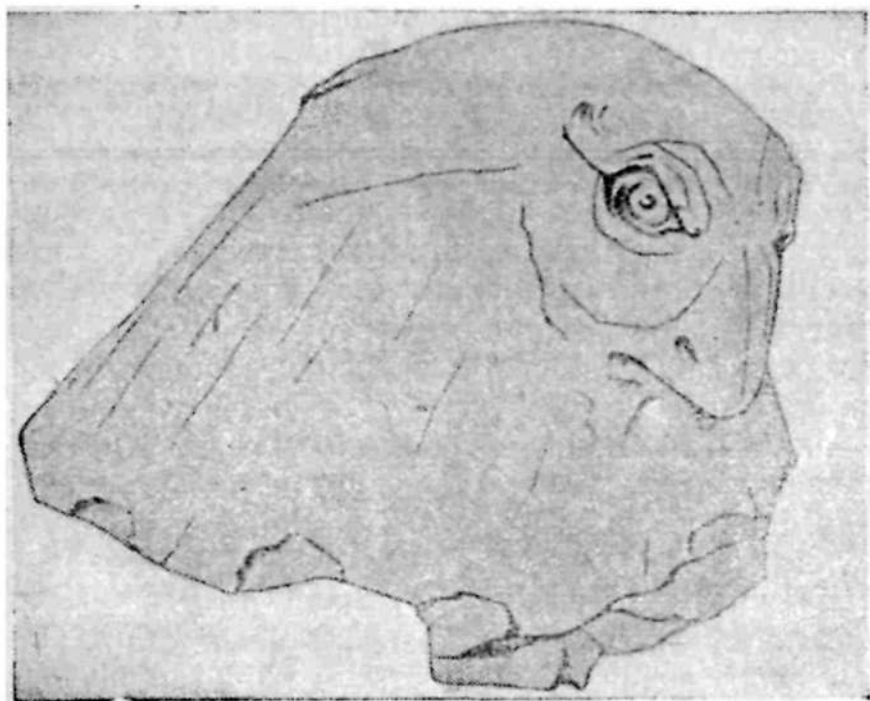


Рис. 5. Тяжелая корона, изображавшая белого орла, оказалась старой знакомой Толстова.

орла. Эта корона оказалась старой знакомой Толстова. Сколько раз он обращал на нее внимание еще прежде — с тех пор, как впервые столкнулся с ней на монетах, где она венчала голову царя, имя которого читалось, как будто бы, Вазамар. Итак, был обретен опорный пункт: Вазамар. Но Вазамар, как это уже было выяснено по монетам, жил в третьем веке нашей эры. Можно было даже сказать (на основании ряда дополнительных данных), в начале или в конце третьего века.

Сколько выкладок из-за одной даты! Но мне, смеясь, говорят, что, щадя меня и учитывая отсутствие специального исторического образования, меня не знакомят и с

сотой долей трудностей, с которыми сталкивается археолог, датируя находку!

Задача отыскать парадный ход во дворец — теперь боевая задача. Возможно, придется очистить для этого все чело стены, несмотря на то, что она изрядно размыта более чем за тысячу лет и не менее того осыпалась и засыпана. Десятки рабочих, углубившись уже на два человеческих роста, роют глубже, еще глубже, — до низа далеко, они орудуют заступами, ломami, лопатами. Опасаться, что так можно повредить какую-нибудь ценную находку, пока не приходится, — в многометровых заносах песка, образовавшихся после гибели дворца и города, им взяться неоткуда.

У чела стены работа идет грубая и быстрая. Но вот поднимаемся на раскопки второго этажа дворца — и словно попадаем в другое царство. Здесь не то, что лом кажется орудием труда варвара, — здесь и на лопату смотрят с нескрываемым подозрением.

Когда я вылетал из Москвы, я не особенно задумывался, чем именно копают археологи землю. «Копают» было для меня понятием расплывчатым. Ну, лопатой, предполагал. Без кирки, конечно, не обходятся. Далее мои догадки не шли. А вот какой набор инструментов археолога я увидел на втором этаже, и, не скрою, в первую минуту не смог удержаться от улыбки, — столь неожиданными показались некоторые сочетания. Нож кухонный, нож перочинный, кисть для бритья, вата, бинт, шило, игла цыганская, игла простая, ланцет, веник, акварельная кисточка, зубная щетка, щетка сапожная, детская резиновая клизма, железо листовое, пинцет.

Но потешал меня этот набор очень недолго. Когда я увидел, как люди с его помощью работают, я проникся глубочайшим уважением к их труду.

Помещения дворца раскапывают сверху. Рухнули плоские крыши над ними, обвалились своды потолков, еще и еще века прошли после этого. Успели уже разрушиться и стены верхнего этажа, — особенно опять-таки верхняя часть их. Комнаты приходится копать, как колодцы. Одни из них еще на той стадии раскопок, что выглядят мелкими котлованами; в другие, где удалось достичь уже пола, уходишь до макушку, в комнаты же первого этажа, зияющие глубокими ямами, надо спустаться по приставной лестнице.

Одновременно можно наблюдать и разные степени тонкости работы. Завалы из слежавшегося песка или обвалившихся кирпичей внутри комнат решительно крошат кухонными ножами, даже лопату иногда пускают в ход. К мелькающим порою кусочкам штукатурки приглядываются внимательней — вдруг на них обнаружатся следы какой-нибудь росписи? (Штукатурку отличают от глины по примеси самана — крошеной соломы. Глаз для этого

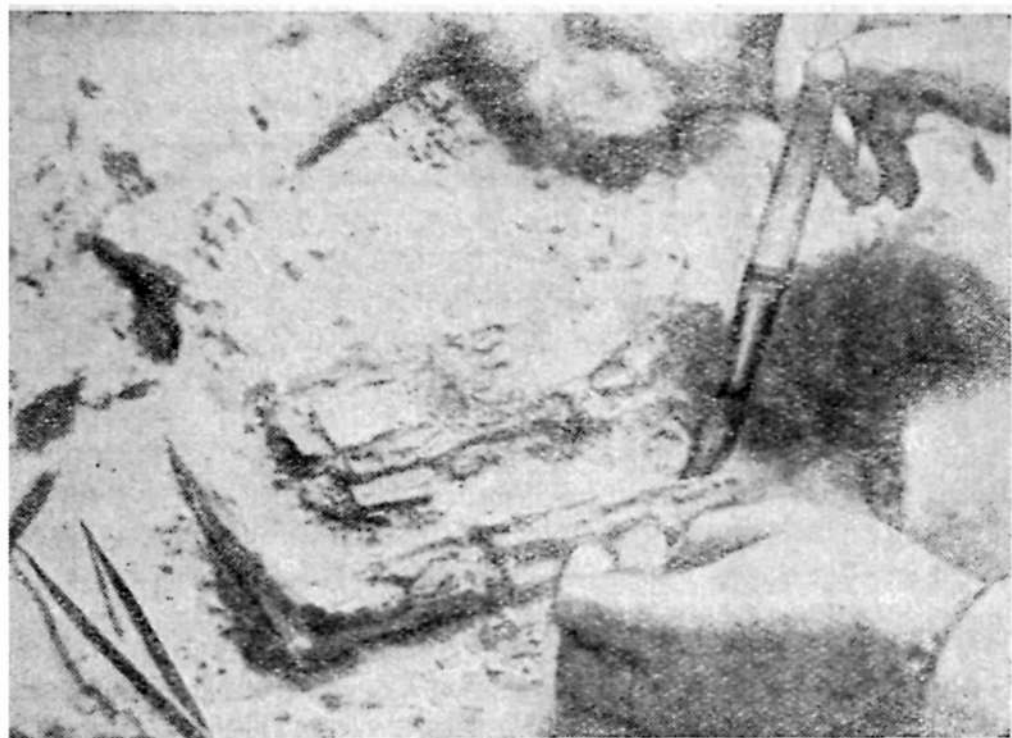


Рис. 6. Дело дошло уже до акварельной кисточки и пинцета.

нужен наметанный и острый. Очищают кусочки штукатурки щетками, кроме того, их обдувают со всех сторон, — вот когда достается груше резиновой детской клизмы). А в раскопе первого этажа, где были найдены письменные памятники (и где они продолжают «выходить», как здесь говорят), Юрий Аксенов, худошавый студент-практикант с тонкими чертами лица, расчищает землю вокруг каждого подозрительного инородного тела вовсе одной лишь акварельной кисточкой.

Вот в слое глины у него в раскопе показалась какая-то ниточка — настоящая волокнистая ниточка! Неужели

ткань? Неужели ткань, сохранившаяся на протяжении тысячелетия?

У Юрия Аксенова непроизвольно начинают дрожать руки. Надо дать им успокоиться. Надо отвести в сторону глаза: может быть, это от напряжения, может быть, ниточка только почудилась?

Но он смотрит снова, — нет, вот она. Нить!

Боязно даже дунуть на нее — так она ветха. А ведь надо извлечь на свет не только ее самое, но еще и то, что за нею. А что там?

Лучи солнца падают в раскоп отвесно. Жара такая, что воздух даже звенит от нее. Но Аксенову до всего этого нет уже никакого дела.

Он вооружается шилом и легонечко покалывает им землю возле нитки. Один укол, другой, третий. Затем принимается тихо-тихо дуть на эти уколы. На их месте образуются чуть заметные воронки.

И снова уколы шилом, и снова бесконечное дутье, пока, наконец, не «выходит» нечто совершенно неожиданное: мешочек! Край напоминающего ладанку белого мешочка из ткани вроде марли, в одном месте надорванной. В отверстии видна бумага, сложенная трубочкой. Талисман? — Здесь поблизости было найдено оружие воинов, бляшки, украшавшие их пояса.

Наверное, талисман. Но такому документу цены же нет! По письменному первоисточнику узнать верования людей того времени, возможно — обнаружить перечень врагов, с которыми они собирались сражаться, прочесть перечисление бед, которые воин считал самыми страшными и от которых просил богов избавить его, — мало ли что еще!

Однако, прежде всего — что делать сейчас? Продолжать откапывать весь мешочек, пренебрегши его ветхостью, или, как это ни обидно, — вырезать кусок земли, в котором он покоится, упаковать этот монолит в бинты и дать возможность уже кому-то другому — в Москве, в лабораторных условиях — довести работу до конца?

Юра в раскопе один, один со своей молодой научной совестью. Ну как остановиться на полпути?! Руки горят: копать, копать!

И все-таки — нет, он не станет копать сейчас дальше.

Он даже отворачивается от этой выползшей на свет ниточки.

Пусть! Все равно, — что бы за ней ни было! — он не будет копать дальше.

...Или — попробовать? Легонечко, чуть-чуть?..

А Толстов, будто по наитию, проведывает, где что новое открылось! Он уже тут, в аксеновском раскопе. Увидел — и от восторга даже слова найти не смог.

— Сергей Павлович, копать, или вырезать монолит? — с последней надеждой спрашивает Юрий. —



Рис. 7. С. П. Толстов в раскопе за работой.

Вот там, в отверстии мешочка, по-моему, бумага, а на ней — какие-то письма.

— Письмена? — В руках Толстова уже лупа, он уже щурит глаз, распластавшись на железном листе у находки. — Очень может быть. Но, тем не менее, пакуйте. Пакуйте, Юра, я вам говорю, — упаси нас, господа, от искушений во пустыне!

Он утешает студента шуткой — он ли его не понимает! Вечером, в своей палатке, он сам не устоит перед соблазном: еще здесь, в ходе раскопок, расшифровать

хотя бы часть найденных текстов. Неужели, действительно, все откладывать до Москвы и лаборатории! Он ни на момент не расстается с блокнотом, где у него воспроизведены все обнаруженные экспедицией тексты. Все до единого!

Другие раскопы задают другие хлопоты, другие загадки.

Вот как-то за глухой капитальной стеной, отделявшей меньшую часть дворца от торжественных зал, наткнулись на сравнительно небольшое помещение, а в нем непонятно для какой надобности вмазанные в пол громадные керамические хумы — своеобразные корчаги, в каждой из которых мог спрятаться взрослый человек.

Сперва решили: баня. Неизвестная еще никому, чрезвычайно оригинальная по устройству древнехорезмийская баня!

Однако дальнейшие раскопки поставили смелую догадку под сомнение. «Баня» оказалась забита рогами громадных диких баранов, причем все рога принадлежали баранам одной породы и в то же время не было обнаружено ни единой кости какого-нибудь другого животного, или хотя бы других костей этих самых баранов. Какое отношение это могло иметь к бане? Это не имело, точно так же, отношения и к кухне — из одних рогов никакой еды не сварить!

Туман загадочности начал рассеиваться, когда еще в одном раскопе (в том, кстати, где затем нашли «талисман», а до него — бляшки, украшавшие пояса воинов) обнаружили также сломанный лук, а по соседству еще несколько штук их, целый склад. И все они оказались клееными из слоев специально обработанных дерева и кости. Хумы предназначались, должно быть, для вымачивания рогов — стадия, предшествующая выварке из них клея. Это была мастерская по изготовлению луков и кладовая сырья — вот что!

Загадка проявлялась все больше и больше: арсенал, естественно, включающий в себя и складские помещения! Конечно, он не мог быть не отделен от торжественных зал и личных покоев шаха. Но как характерно, что он оказался в такой близости к ним! Ремесленная мастерская, отнюдь не расположенная в специальном квартале ремесленников (которого на Топрак-кале и вообще-то

нет! А ведь вот, скажем, феодальный город был бы немислим без ремесленного квартала)!

Каждый раскоп дает что-либо чрезвычайно своеобразное для понимания не только плана дворца, но и для понимания общественных отношений древности, для понимания того, на чем держалась власть хорезмшаха и как было построено Хорезмское государство того времени — государство, конечно же, весьма схожее по своей социальной структуре с другими современными ему государствами Востока.

В тех раскопах же, в которых перед глазами появляются из-под толщи вековых напластований произведения искусства, испытываешь чувства, вообще ни с чем не сравнимые.

Казалось бы, — какая разница, где увидишь голову какого-нибудь хорезмшаха или его красавицы-супруги, — в московском ли музее, или здесь? Рассуждая отвлеченно, с точки зрения чисто логической, следовало бы даже признать, что условия осмотра в музее лучше: и солнце не печет, и подойти к скульптуре можно с какой угодно стороны, и экспонирована она будет уж, конечно, очищенной от всяких комочков пристающей к ней глины или въевшихся в расцветку песчинок.

Но логика — логикой, а все-таки невозможно и сравнивать: там или тут!

Шаблонное словосочетание: «толща веков». Но вот археолог отваливает ломом глыбу земли, затем еще глубже врезается лопатой, лопату меняет на нож, скальпель и так далее, и наконец, когда уже ни один инструмент не оказывается достаточно тонок, наклоняется над землей, как над дитятей, и сдувает последний налет пыли с дышащих румянцем щек скульптуры — пыль третьего века!

Вот она — толща веков, на полторы тысячи лет скрывшая это живое лицо, эти живые глаза, устремленные на нас!..

И тут же — то, чего не дано увидеть нигде больше: в течение ближайших пяти или десяти минут после того, как изображение впервые из-под пласта укрывавшей его земли вновь показалось на свет, оно тускнеет. Меняется тон красок, — как мне передать словами, как именно? Вот только что карий цвет глаз был одним — ярким и совершенно по-живому чуточку влажным,

а теперь он вновь тускнеет, становится как будто вновь запыленным, что ли... Не знаю, как это передать. Но, во всяком случае, ощущение, что ты сейчас встретил — живым! — человека третьего века, — это ощущение никогда не испытать так остро, как если видишь, что на твоих глазах его лицо меняет тона своих красок.

А где еще это увидеть, как не здесь!





6. ЧТО ЗНАЕТ И ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ РУЗМАТ

Бок о бок с научным персоналом экспедиции трудятся подсобные рабочие — преимущественно колхозники из близлежащих колхозов «Алгабас» и «Кзыл-казах». Может быть, рассуждая отвлеченно, для выводов, которые делаются на основании материалов археологических раскопок, не важно, из кого состояли чернорабочие этих экспедиций. Но думается, однако, что наука, которая так смотрит на это, немало прогадывает!

В докторской диссертации С. П. Толстова — в «Древнем Хорезме» — среди ссылок на различных мировых ученых можно прочесть и такую характернейшую фразу: «По гипотезе, выдвинутой одним из наших рабочих Серикбаем Оралбаевым...» — далее идет описание, как при раскопках мертвого оазиса Беркут-калы, разбирая осевшую еще в древности стену одного здания, Толстов наткнулся в ее швах на несколько групп лежавших по 3—4 штуки небольших глиняных шариков. Они никак не помогали прочности стены и для чего были положены туда — представлялось загадкой.

Точнее дело было так. Эту стену раскапывал Серикбай Оралбаев. Он же выложил перед Толстовым эти катышки. И когда увидел недоумение и озабоченность на лице Толстова, предложил вариант разгадки:

— Извини, пожалуйста, профессор, если скажу неправильно, но я думаю так: когда люди боялись, что стена, которую они складывают, будет стоять непрочно, они заговаривали всякими словами эти самые шарики и клали их в стену. Я и сам это помню. Конечно, темные тогда еще люди были, неколхозные...

Значение глиняных шариков, смысл которых правильно объяснил Серикбай Оралбаев, не так уж велико; не сравнимы, конечно, со знаниями ученых и знания Серикбая. Но мне хочется подчеркнуть иное: с каким органическим уважением относится советский ученый к любому чужому вдумчивому мнению, как щепетилен к чьему бы то ни было приоритету в науке, и как бесценен для общих результатов работы экспедиции царящий в ней чудесный дух живой заинтересованности всех в общем успехе.

Время, которое экспедиция проводит в пустыне, — лето и осень — самая горячая колхозная пора. Но никому ни в «Алгабасе», ни в «Кзыл-казахе» не придет в голову, что можно отказать Толстову и не дать ему нужного количества рабочих рук. Раз требуется для науки — торговаться не приходится!

С занятого эпизода началась лагерная жизнь экспедиции этого года. Не успели еще разгрузиться с грузовиков, как притрусил из соседнего кишлака на своем ишачке семидесятилетний Бекдилля Ташпулатов, шестой год копающий вместе с Толстовым. По-старинному поздравившись со всеми — обеими руками пожимая обе руки другого, преподнес Толстову подарок: несколько «пулов» — древних монет и бляшек, которые нашел на городище после отъезда экспедиции в прошлом году.

Толстов хотел оплатить старику эти ценные находки, у экспедиции на это есть специальная сумма денег, и прежде тот же Бекдилля не отказывался от законного вознаграждения, но теперь он разобиделся.

— Сколько лет, Сергей Павлович, будем работать вместе, а все не перестанем считаться? Не тебе дарю — науке!

Великое слово — наука!

Со студентом-практикантом Рюриком Садовковым — превеликим скромником, способным, трудолюбивым, застенчивым юношей, работает мальчуган Рузмат Юсипов. Из их раскопа все время слышится:

— Рюрик, а это — что?

— Рюрик, а это — зачем?

Но Рузмат совсем не беспомощен, наоборот. Он работает уже скальпелем и даже акварельной кисточкой — вот как высока точность его работы. Из раскопа нередко

раздается и рюриков голос: «Ну, Рузмат, а теперь за что нам взяты, ты как думаешь?»

Рузмату четырнадцать лет, у него гибкое сухое тело, одежда не слишком обременяет Рузмата: тубетейка и короткие, подпоясанные скрученным платком штаны, но зато он никогда не снимает больших черных, предохраняющих от пыли и солнца «консервов» — очков. Он полагает, что выглядит в них солиднее.

Самые большие желания Рузмата — их два: первое — стать шофером, второе — археологом. Образец совершенства для него — Рюрик. Рюрик и Рузмат неразлучны, нередко можно встретить их на раскопках и в неурочное время — в обеденный перерыв, например, они не считаются с этим.

Рюрик устраивает Рузмату экзамен — Рюрик не представляет себе, как можно, обладая какими-то знаниями, не стараться передать их другим. А слушатель Рузмат отличный.

— Рузмат, скажи, как ты думаешь: может только природа быть повинной в том, что здесь на месте прежних арыков, садов, полей теперь лишь пески и пески?

Рузмат коротко смеется в ответ.

— Рюрик, зачем ты спрашиваешь глупости!

Вопрос кажется Рузмату нелепым. У него образование пока лишь три класса, и он не знает, сколько ученых и с какой страстью пытались «доказать», что в основе запустения среднеазиатских земель древнего орошения лежат не социальные причины, а стихии природы. Сколько всяких гипотез было выставлено в защиту этого! Гипотеза о якобы необратимом засолонении почвы; гипотеза о якобы имеющем характер закона общем «усыхании» Средней Азии, вследствие прогрессирующего повышения температур в здешних местах; гипотеза, по которой все дело заключалось в «сумасшедшем» характере Аму-дарьи, вспышки которого, дескать, предугадать невозможно: Аму-дарья, мол, кидается в новое русло, а старое неизбежно пересыхает, с ним гибнет и оазис, расположенный по берегам; гипотеза о том, что виною всему сменившееся направление господствующих ветров — с некоторых пор, мол, ветры стали дуть из пустыни и заносить песком оазисы, — причем здесь, дескать, общественные отношения!

Рузмат коротко смеется. Он ничего не слышал об этих мудреных гипотезах, но зато отлично знает, что когда

поблизости — в Турткульском районе колхозники взялись как один и прорыли канал Пахта-Арна, то на месте пустыни принялся сад (а ветры как дули, так и дуют!). И знает другое (его, правда, не было тогда еще на свете, но все взрослые про это рассказывают): когда в здешних местах хозяйничали басмачи, то достаточно им было узнать, что какой-нибудь кишлак — за советскую власть, как они сразу отводили воду от полей этого кишлака, вытаптывали посевы, а на место горшков для просушки выставляли на плоские крыши домов отрезанные головы хозяев этих домов. Целые кишлаки снимались и уходили тогда из бандитских мест... Ветры их, что ли, согнали? Но с ними и жизнь уходила с полей: поля пересыхали и трескались, шелудивая корка такыра покрывала их смертным налетом, — вот как возникала пустыня!

Рузмат отлично управляется со скальпелем в рюрик-вом раскопе, но несколько не хуже орудует и кетменем на колхозном поле. К истории он относится также по-хозяйски: как человек, знающий, как за чем ходить, чтобы плоды были хорошими, и отчего плоды бывают плохими. Да, образование его пока невелико, зато у него прочно сложившееся отношение ко всему, что он знает. Кто ему посмеет выдумывать сказки про ветры и капризы Аму-дарьи! Басмачи тоже морочили темных людей сказками: «знаете, кто, мол, против красных? Сам аллах!» А винтовки у них были английские. Что аллах — англичанин? Вот какой у них был аллах!

В выходные дни на Топрак-калу частенько приезжают колхозники из ближних колхозов на экскурсии. Ничем не гордится Рузмат больше, чем своей привилегией выступать перед ними экскурсоводом. Он уверенно объясняет:

— Вот здесь жил хорезмшах со своими министрами и стражей, а вот там, — он обводит рукой остальное городище, простирающееся внизу, — там жили колхозники.

И, не замечая улыбок, появляющихся после такого объяснения: для него ведь «крестьянин» — слово забытое, он знает только «колхозник», — продолжает:

— Тут цвели замечательные сады — мы нашли в земле сохранившимися косточки урюка, винограда, персиков, — протекали глубокие арыки. Но пришла одна банда и, когда ей не захотели подчиняться, воду отвела, сады вырубил, людей прогнала... Басмачи!

— Рузмат, — спрашивают его, — что это за банда была, про кого это ты рассказываешь?

— Про Чингис-хана, неужели не понимаете?

Отличился он в одной даже чисто научной догадке. Правда, она была высказана, — и более того: разработана еще до него, но он этого не знал.

Догадка была вот такая. Пожалуй, самые интересные помещения, раскопанные в топрак-калинском дворце, наряду с «залом царей», — «зал гвардейцев» и «зал побед».



Рис. 8. Орнаментальный мотив упрямо повторялся. Но что он означал и что означала спираль на конце?

Стены залов — сплошь в барельефах или в нишах со статуями: сидящие, должно быть, хорезмшахи — больше натуральной величины; рядом с ними, но меньшего размера и притом стоящие, женские фигуры (жены?); еще меньшего размера воины-гвардейцы; наконец, совсем небольшие, боги-покровители.

Художественная манера, в которой исполнены все эти группы (достаточно взглянуть на них), свидетельствует о зрелом мастерстве древнехорезмийских скульпторов и самостоятельности их школы. Ни эллинское искусство, еще со времени похода Александра Македонского пересаженное на почву Средней Азии и во многом привившееся

там, ни искусство индо-буддийское, которое также было знакомо древнему Хорезму, не подчинили их себе: скульптуры не спутаешь ни с изваяниями индо-буддийских храмов, ни с греческими статуями, хотя преображенные традиции обеих этих школ и ощущаются.

Но что не имело аналогий ни в греческом, ни в индо-буддийском искусстве — это то, над чем немало поломал голову сначала и Толстов. Одна группа барельефов от другой отделялась широким простенком, который был декорирован так: с середины простенка к его бокам шли, наподобие лиры — снизу вверх, постепенно сужаясь и образуя спирали на концах, — две рельефные толстые глиняные полосы. Но это была не лира — полосы были чересчур толсты, не было в помине струн, низ был иным. В некоторых местах на этих полосах можно было как будто разобрать какие-то поперечные зарубки. Впрочем, возможно, это лишь казалось.

Этот орнаментальный мотив упрямо повторялся: откапывали новый простенок — и снова видели, что он был декорирован так же. Что же означал этот мотив? И каково было его происхождение? Ведь орнамент никогда не бывает случайным — у какого еще вида искусства столь глубокие корни в недрах народной жизни! Старая истина: если видное место в орнаменте принадлежит, скажем, рыбам, то можно ручаться, хотя бы и не зная об этом народе ничего более, что этот народ во времена близкие или отдаленные, но непременно жил у воды и занимался рыболовством. А о чем же говорили эти упрямые толстые полосы?

Аналогий к ним, к сожалению, не было...

Во время одной из частых своих бесед с Рузматом на всякие исторические темы Рюрик привел его в «зал гвардейцев». Рассказал, какие важные выводы о существовавшем обожествлении личности хорезмшаха напрашиваются из сравнения величины его статуи и статуй тех же гвардейцев и богов, рассказал о влиянии на искусство древнего Хорезма традиций греческих и индо-буддийских.

Упомянул, между прочим, и о странном орнаменте, которым декорирован простенок, — что, мол, он может значить?

Рузмат, хотя всегда лекции Рюрика слушал во внимательном молчании, тут вдруг решительно прервал его.

— Говоришь: не знаешь, что это?

— Нет.

— А хочешь, я тебе объясню? Честное пионерское, объясню! Не веришь?

И, не дожидаясь ответа, стремительно сорвал с себя скрученный платок, которым подпоясывался.

— Вот, — вот здесь покажу тебе то же самое!

Посреди рузматова платка пылал огромный зубчатый золотой круг (конечно же, солнце), зеленели вокруг него листья, желтели плоды.

Но Рузмат ошибался: орнамента, похожего на тот, что виднелся перед ними на стене, на платке не было.

— И все-таки я знаю! Знаешь, где я видел такой? На паласах — на стенах паласы у нас вешают, — знаешь?

— Ты уверен?

— Я тебе говорю! Ты же видел — я даже на платке начал это искать!

Рузмат говорил так убежденно, что Рюрик счел необходимым рассказать об этом Толстову.

— Сергей Павлович, а не могут ли что-нибудь дать, как параллели к орнаменту с простенка в зале «гвардейцев», настенные ткани сегодняшних каракалпакских или казахских жилищ? Может быть, все-таки сохранился этот мотив, как вы думаете?

— Думаю, что соображение вполне основательное. Больше того, не только думаю, а уже уверен. Татьяна Александровна Жданко, — я, должно быть, просто упустил из виду рассказать это всем, — привезла мне из своей последней поездки как раз этот самый орнаментальный мотив, который ей удалось обнаружить (правда, уже в измененном виде) на одном старом паласе в доме колхозника. — (Кандидат исторических наук Татьяна Александровна Жданко возглавляет этнографическую группу Хорезмской комплексной экспедиции и в лагере бывает редко. Ее поле работы — преимущественно колхозы.) — И вы не догадываетесь, что это за мотив? Это — рога баранов, мотив вполне закономерный для скотоводов. Причем заметьте: таких рогов — со спиралями на концах — нет в орнаменте ни индусов, ни греков, чье искусство влияло тогда на местное, ни в чем бы то ни было другом. Следовательно, древние хорезмийцы были народом, не пришедшим сюда откуда-то из других мест, а населявшим здешнюю землю искони. Вторая сторона вопроса об этом

орнаменте — такая: то обстоятельство, что этот орнамент сохраняется у народов Средней Азии по сейчас, — свидетельство, во-первых, изумительной глубины и устойчивости его корней, а во-вторых, того, что и нынешние народы Средней Азии — прямые потомки именно древнейших аборигенов здешних мест, а не каких-то пришельцев, и если они и заимствовали элементы культуры пришельцев, то не как бедные родственники, не рабски, а лишь органически сплавления ее со своей древней культурой. Этот орнамент — выстрел в упор во всех, кто смеет утверждать, что никакой самостоятельной культуры народы Средней Азии, мол, не знают, что все хорошее у них, мол, только от завоевателей — чужое, наносное, заимствованное! Я очень, очень рад, что и вам пришло в голову обратиться за параллелью к этому орнаменту, именно к народному творчеству!

— Это не мне, Сергей Павлович, — Рузмату.

— Рузмату? Да что вы говорите! А это еще приятней. Конечно, он мог даже скорее, чем вы, почувствовать, что этот орнаментальный мотив — близкий ему, родной! Вообще надо будет подумать, как бы устроить так, чтобы этот паренек занялся историей вплотную. Кадры, дорогой Рюрик, кадры растут...

...Перед вылетом из Москвы мне рассказали в Институте этнографии одну интереснейшую историю, показавшуюся мне, кстати, типичной в нескольких планах. Но прежде, чем поделиться ею со мной, от меня потребовали прочесть в журнале «Советская этнография» статью ленинградского профессора Ольдерогге «Параллельные тексты некоторых иероглифических таблиц с острова Пасхи».

Взяться за чтение статьи с таким отпугивающе-специальным заголовком мне, неспециалисту, поначалу было страшновато, но когда я все же преодолел робость и прочел ее, а затем услышал и обещанное послесловие, то пожалел только об одном: почему все это упрятано в журнале с 2,5-тысячным тиражом, которого, конечно, никто, кроме узкого круга специалистов, не знает, почему об этом не прогремело радио, не рассказали массовые газеты!

История заключалась в следующем. Кто с детства не увлекался путешествиями, кто из увлекавшихся ими не слышал о далеком и таинственном острове Пасхи! Еще в

начале XVIII века был открыт этот маленький остров в Тихом океане, за 3,5 тысячи километров от ближайшего материка, в стороне от всех магистральных путей, и с тех пор все найденное на нем продолжало оставаться загадкой.

Находки были, действительно, на редкость странными, к ним не находилось никаких аналогий. Торчали из земли чудовищные, больше человеческого роста, вытесанные из цельных базальтовых глыб головы на шеях, с плоскими затылками и злобным выражением близко посаженных глаз; остатки как будто бы мостовых из тесаных каменных плит покрывали кое-где землю. Попадались также доски и дощечки твердого красного дерева с непонятными рисунками на них. Рисунки эти изображали как предметы, встречавшиеся на острове, так и такие, которых, казалось, на нем никогда не могло быть. Не доказывало ли это, что обитатели острова приплыли сюда откуда-то из-за океана? Впрочем, рисунки изображали предметы в очень преображенном виде, так что невозможно было поручиться, что они изображают то-то, а не что-нибудь, не имеющее к этому ни малейшего отношения. А это еще больше запутывало дело. И почему на островке, где сейчас живет едва двести человек, закинутом за столько тысяч километров от ближайшего материка, создалась и развилась такая, не похожая ни на какую другую, большая самостоятельная культура?

Ответа на все это не было. Туземцы острова к тому времени, как исследователи заинтересовались вопросом, уже не умели наносить рисунки на деревянные таблицы; последний туземец, умевший хотя бы разбирать их (он пел, глядя на эти таблицы), также умер вскоре после того, как его разыскали (это было в шестидесятых годах прошлого века).

Впрочем, и записи с его слов не дали ответа на вопрос: читал ли он таблицы, или складывал всякий раз импровизации по поводу изображенных рисунков? А это разные вещи, и из них следуют разные выводы. Ведь одно дело, если народ достиг такой высокой ступени развития, что создал уже самостоятельную письменность, и другое — если эти знаки только рисунки.

Но как ни была заманчива разгадка странной культуры острова Пасхи, она все же не продвигалась ни на

шаг. Попрежнему таинственные, лежали несколько таблиц с рисунками в музее Брэн ле-Конт в Бельгии, две таблицы — в Британском музее, две — у нас в Музее этнографии и антропологии (дар Миклухи-Маклая) и по одной в нескольких музеях Европы, Чили и Северной Америки. И вот публикация, даже смысл заголовка которой трудно усвоить непосвященному, заметка, скрытая в журнале с 2,5-тысячным тиражом, неожиданно сообщала о выдающемся, можно сказать без преувеличения — мировом, открытии, сделанном советским ученым. Непонятные рисунки таблиц с острова Пасхи, оказывается, не рисунки, а письма, причем письма начальной стадии развития письменности. Население острова Пасхи, древнейшие памятники культуры которого насчитывают давность в десять тысяч лет, имело самостоятельную письменность! И сделал это открытие, как сообщала статья, «молодой советский исследователь Борис Григорьевич Кудрявцев». Правда, он даже не успел подготовить свое открытие к печати — он безвременно погиб в марте 1943 года, и статья снабжена скорбным подзаголовком бывшего научного консультанта его — профессора Ольдерогге: «По неопубликованным данным Б. Г. Кудрявцева».

Доказал свою точку зрения Кудрявцев следующим. Скрупулезно исследовав хранившиеся у нас две таблицы (доступ к ним устроил ему Ольдерогге), Кудрявцев обратил внимание на то, что некоторые группы рисунков в них повторяются. Сначала это настолько поразило его, что он не поверил себе: не может быть, чтобы никто не заметил этого до него! Но чем больше Кудрявцев вглядывался в группы рисунков, тем больше убеждался, что прав. Так бывает с зайцем на загадочной картинке: сперва его не найти ни за что; зато, когда уж отыщешь, — никак невозможно понять, как его не видят другие!

Однако, чтобы проверить себя еще строже, он решил разыскать в литературе все опубликованные снимки с таблиц, найденных на острове Пасхи. И когда проделал и эту работу, то обнаружил, что прав безусловно: группы знаков, совпадающие с найденными им на наших таблицах, он увидел также на таблице из Чилийского музея и на таблице из музея в Брэн ле-Конте.

Почвы для сомнений больше не оставалось. Повторяемость определенных групп рисунков свидетельствовала

неопровержимо, что это не просто рисунки, а запись. А искусство дешифровки находится уже на таком уровне, что, позже или раньше, но можно ручаться, будет прочтена любая запись, а значит науке вручен ключ к загадочной культуре острова Пасхи!

Вот, собственно, содержание статьи об открытии молодого, безвременно погибшего советского исследователя Б. Г. Кудрявцева.

В обещанном же послесловии мне сообщили следующее, о чем в самой статье не было ни звука: Б. Г. Кудрявцева звали Боря, он назван в статье полностью по имени и отчеству не потому, что вообще был известен, как Борис Григорьевич, — нет, из уважения перед его научным подвигом. Он сделал свое открытие, занимаясь в кружке друзей истории при Дворце пионеров. Консультировал юных историков из кружка профессор Ольдерогге.

Как плохо порой популяризуем мы наши достижения — умудряемся иногда не сказать как следует в полный голос даже о таких, которые и на нашем фоне выглядят поразительными!

Но это — реплика попутная. Вспомнил же я эту историю вот в какой связи: а не вырастет ли и из Рузмата такой же настойчивый историк? Во всяком случае — факт, что, пусть хотя бы один из ста, но из тех многих юношей-узбеков, каракалпаков, казахов, которые трудятся сейчас на раскопках бок о бок со старшими товарищами — научными работниками, непременно вырастут новые исследователи истории своих народов. Они пройдут здесь, в пустыне, настоящую хорошую школу!





7. НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Дни на Топрак-кале проходят по строгому, раз навсегда установленному режиму: как только рассветает — подъем, а затем, если исключить время на завтрак, обед и часовый послеобеденный отдых, — раскопки, раскопки и еще раз раскопки. Так изо дня в день, из месяца в месяц... Трудно представить себе что-либо однообразнее жизни здесь, если только не считать очень часто ломающихся расписание песчаных бурь.

И однако что может сравниться с увлекательностью раскопок! Недаром тут не признают никаких выходных дней. Не то, чтобы они не предоставлялись, — нет, как можно! — но и в выходной обитатели лагеря, как только закончится завтрак, один за другим постепенно начинают тянуться на городище. «Мы не работать, — написано на их смиренных лицах, — мы только посмотреть, не надделал ли чего-нибудь худого ветер за ночь...» Но как-то так получается, что когда эти паломники добираются до своих раскопов, то в их руках появляются и ножи, и пинцеты, и щетки, и кисточки, вслед за Рюриком спрыгивает в раскоп Рузмат... И тоже берется за нож...

И вскоре в лагере, как во все дни недели, остаются попрежнему лишь дежурные, повара да неразлучная троица (ну какой уважающий себя лагерь может обойтись без чего-нибудь подобного!): верховод-котенок и двое «братьев-разбойников» — коротеньких толстых добродушных щенят.

На раскопках знают будни — когда нет ничего интересного, хотя перелопачены тонны земли за день; знают

праздники; но чего никак не признают на раскопках — это выходных.

К «неграм» я попал лишь на другой день, — так много впечатлений было в первый день, что «негры» оказались заслонены ими.

Следующий день был выходным, но почти все обитатели лагеря продолжали работать.

Палатка, соседняя с толстовской — склад всех находок экспедиции и одновременно упаковочная мастерская. По возможности здесь производят и первоначальные реставрационные работы, — но только по возможности. Ну, так же, как в бою от батальонного пункта медпомощи не приходится ждать большего, чем наложения на раненого стерильной повязки и подготовки к отправлению в тыл.

И снова я ловлю себя на фронтовой ассоциации, когда меня пропускают в эту палатку — святая святых лагеря. Меня пропускают в нее так же, как приезжего на фронте в операционную медсанбата: проходи уж, если тебе разрешено начальством, но насколько, все-таки, спокойнее было бы хирургу, если бы посторонние не совались сюда. Вдруг заденут что-нибудь во время операции, — много ли надо!

Действительно, когда я впоследствии несколько ближе познакомился с тем, как приходится сберегать и даже просто упаковывать находки, то понял, что это за хирургическое искусство и как нетрудно здесь малейшей неосторожностью — но уже навсегда! — разрушить вещь, только что извлеченную из-под земли, где она уцелела на протяжении тысячелетия.

«Негры», к счастью, еще не упакованы для отправки в «тыл» и даже не полностью собраны. Их находили под напластованиями песка и глины по частям: отдельно нос, отдельно пол-уха, наконец просто какой-то окрашенный в лиловый цвет черепок (следовательно, тоже от «негра», должно быть). Все это разложено на брезенте, тут же бинты, вата, какие-то примочки, и, озабоченно склонившись над этим, стоит «хирург». На комбинезоне — боевые орденские ленточки, засучены рукава, вспотевший наморщенный лоб, скальпель в руке, — операция, видимо, идет не первый час. Ее производит студент-практикант Константин Тарновский. Он не так молод на вид, как полагалось бы студенту-первокурснику, но что поделаешь,

если между началом учебы в университете и ее продолжением протекли все годы войны и не без того обошлось, что «хирурга» самого «латали» в палатках медсанбата примерно так же, как он сейчас — «негра».

Он кропотливо прилаживает нос к провалу на лице, бровь — к глазу. К сожалению, не всегда можно угадать: а от чего эта деталь? от щеки? от подбородка? Бывает и так, что нос от одной головы Тарновский сперва прилаживает к другой: он откопал не одну голову — четыре.

Пристроит черепок, отойдет в сторону, поглядит искоса: на место пришелся? И только после этого принимает-ся за следующий.

«Негры» — не совсем такие, какими описал мне их шофер Коля. (Кстати, он чрезвычайно «вольно», как выяснилось, передал мне и обстоятельства, при которых их нашли. Ниоткуда Толстова не звали, — наоборот, он первый определил, что начавшие «выходить» головы принадлежат темнокожим.) И про курчавые волосы Коля тоже нафантазировал. Волосы у них прямые, что удивительно, ибо и цвет кожи лилов, и общий облик — негроидный, а к нему прямые волосы не подходят.

Характерная особенность: все четыре лица отличаются каждое своим особым выражением. Отчетливо видно, что это — изображения с натуры, причем сделанные смелым и умелым художником реалистического направления, — о последнем можно судить по тому, что лица ни в малой мере не стилизованы. За исключением губ, которые вообще наиболее бросаются в глаза на лице негроидного типа. Должно быть, художник никогда не встречал такой формы губ, она его поразила, и он передал свое удивление тем, что вылепил их преувеличенными до гротеска. (Лишнее доказательство, что негры в Хорезме были редкостной экзотикой.)

Но если, может быть, никогда не удастся дознаться, какими путями попали сюда эти «негры», то зато по ряду фактов можно установить, какую роль они здесь играли, а это, право, не менее интересно и существенно.

Во-первых: они были воинами. Это — совершенно точно: кроме четырех голов, найден и один торс от них, и вот на нем отчетливо видна чешуя кольчуги. Кроме того, рука согнута так, что ясно: она сжимает оружие.

Дальше. Их изображения найдены в одном из парадных залов дворца, рядом с портретной галлереей самих

хорезмшахов. Что это значит? А то, что эти экзотические в Хорезме войны были отнюдь не рядовыми, а особо приближенными воинами, скорее всего — лейб-гвардейцами хорезмшаха. За что бы еще, кроме как за выдающееся для него значение их, стал хорезмшах помещать их скульптуры в парадных залах да к тому же — рядом со своими?

Но если это так (а поскольку это не может быть никак иначе, значит это действительно так!), то в наших руках оказывается драгоценная нить к целому ряду других вопросов, причем таких, в которых речь пойдет совсем не об экзотических редкостях.

Прежде всего, вопрос об одном «заблуждении» Плутарха и Помпея Трога. Это темное место в истории древнего Востока, как и многие другие, используют ученые прислужники империализма для «доказательства» того, что Восток выпадает из исторического развития человечества, что у него — свой, особый путь, вернее — отсутствие пути: он, мол, не развивался, а топтался на месте.

Слава в веках, установившаяся за Плутархом и Помпеем Трогом, как за осведомленнейшими историками древнего мира, незыблема. Но столь же незыблемым считалось, что в вопросе о составе парфянского войска (игравшего, к слову сказать, виднейшую роль в войнах, ведшихся на древнем Востоке) Плутарх и Помпей Трог допускали ни на чем не основанную ошибку. Они говорили о рабском войске парфян, а парфянское войско отличалось такими выдающимися боевыми качествами, — наряду с воинским мастерством также смелостью, сплоченностью и громадной стойкостью, — что, дескать, ясно: всем этим оно могло быть обязано только тому, что являлось войском народным, а не наемным или состоявшим из рабов.

Объяснение, на первый взгляд, убедительное, и не найдись «негры» в Топрак-калинском дворце, оно, наверно, еще долго не возбуждало бы сомнений. Но «негры» заставляют пересмотреть его: полно, действительно ли ошибались Плутарх и Помпей Трог? А может быть, ошибались, или (что не менее возможно) намеренно искажали историю как раз те, чьим теориям были «невыгодны» сведения, сообщаемые Плутархом и Помпеем Трогом? Может быть, именно поэтому были скомпрометиро-

ваны утверждения Плутарха и Помпея Трога? Ведь доказательство отсутствия рабов в парфянском войске является исключительно мощным подспорьем в утверждении, что Парфия не знала резкого классового разделения, и тем самым, что история этого государства была застойной. Неважно, что Топрак-кала — не Парфия, а Хорезм. Социальный строй обоих государств был очень похож один на другой, и то, что будет доказано для Парфии в основных чертах, окажется обязательным и для Хорезма.

Итак, как могли очутиться в Хорезме «негры»? («Негры» приходится ставить в кавычки, потому что волосы на скульптурах не курчавые, хотя это — обязательный признак для чистого негра, а прямые. Но пусть эти воины не негры, а дравиды из Индии — самое близкое к древнему Хорезму место обитания темнокожих; суть дела от этого не меняется, все равно, они оставались совершенно чужды коренному местному населению.) Они могли попасть в древний Хорезм только в результате следующих обстоятельств: или были взяты в плен в боях с каким-нибудь чужеземным войском, в рядах которого сражались, а затем включены хорезмшахом в свое войско — случай в те времена достаточно частый; военнопленный считался такой же собственностью победителя, как любой другой трофей. Или были куплены где-то хорезмшахом, и хорезмшах, обращаясь с ними опять-таки как с собственностью, определил их в свое войско.

Но и в том и в другом из этих двух только и возможных случаев эти темнокожие попали в Хорезм именно как рабы и именно как рабы были зачислены в войско хорезмшаха. Это не помешало им занять при хорезмшахе привилегированное положение, что подтверждается тем многозначительным обстоятельством, где были найдены их скульптуры. Ведь, чтобы в Хорезме воин был отмечен среди прочих, для этого он должен был быть выдающимся воином; все источники единодушно свидетельствуют, что в воинском искусстве хорезмийцы толк знали. Но что толкало воинов-рабов так рьяно сражаться за хорезмшаха, или, если обратиться к данным Плутарха и Помпея Трога, — за парфянских властителей? И, с другой стороны, если у хорезмшаха были такие замечательные воины из своего народа, зачем ему понадобилась лейб-гвардия из чужеземцев?

Ответ может быть только один: лейб-гвардия из чужеземцев, закинутых за тридевять земель от мест обитания их народа и совершенно чуждых туземному населению, волей-неволей должна была хранить рабскую верность царю, — он был единственной их опорой в этой стране, они здесь были нужны только ему. Но если царь



Рис. 9. Как могли очутиться в Хорезме негры?

непрочь был всегда иметь под рукой такую гвардию, у которой не было никаких корней во-вне его дворца, то, значит, почва под его ногами колебалась, или во всяком случае могла колебаться порою и внутри его собственного государства! А нужно ли большее доказательство, что такое государство есть государство с весьма развитыми классовыми противоречиями?

Пусть общинные дома топрак-калинского городища неоспоримо свидетельствуют о безусловно большой силе пережитков доклассового, родоплеменного строя (о том же кстати свидетельствует и многое другое: хотя бы всяма характерное местонахождение городского храма огня, о чем мы вели уже речь раньше), — но никакое, даже самое мощное давление старых общественных форм на социальный уклад древнего Хорезма не могло свести на нет факта существования развитых классовых отношений в этом государстве. Существовал уже выделившийся из племени царский род, существовали рабы, — причем рабы, не только находившиеся в коллективном владении всей общины граждан, но и во владении личном — хотя бы царском, например.

Вот как много рассказали Толстову экзотические «негры».

Впрочем, не только «негры», конечно, привели его ко всем этим важнейшим выводам — выводам о том, что и здесь, как во всех других, известных нам до сих пор государствах, прошедших подряд все ступени общественного развития, следующей ступенью после родоплеменного строя был именно рабовладельческий строй, — он, и никакой иной, — т. е. что законы развития человечества едины, как бы ни пытались это опровергать те, кому невыгодно прогрессивное движение человечества и в чьих интересах затормозить его. Если вообще история древнего Востока — область науки, разработанная сравнительно мало, ибо начали ее изучать сравнительно недавно, то по вопросу о классовой борьбе в государствах древнего Востока буржуазные ученые и вовсе постарались напустить как можно больше туману. Прежде всего, большинство их вообще обходило этот вопрос, пытаясь изобразить (хотя бы с помощью фигуры умолчания), будто классовой борьбы на Востоке не существовало, или, в крайнем случае, что она была еле заметна. Из истории Востока больше всего интересовались историей искусства, архитектуры, религии.

Крупнейший буржуазный историограф Востока, оказавший сильное влияние на все исторические школы буржуазии эпохи империализма, Эдуард Мейер, прямо, например, заявлял, что на Востоке «существенные черты экономической жизни оставались неизменными с самых древних времен и до настоящего времени», т. е. что «Во-

«сток» сам по себе ни к какому развитию неспособен, что преодолеть его косность можно лишь путем насильственного вмешательства в его судьбы со стороны «просвещенного Запада». (Характерно, между прочим, и мейеровское противопоставление «Востока» «Западу». Плоды его «науки» дают себя знать и сегодня, когда империалистские заправилы причисляют народно-демократическую, скажем, Чехословакию, расположенную строго в географическом центре Европы, к «Востоку», а Турция стала «Западом».) Кроме того, Мейер, конечно, «доказывал», что капитализм — вершина развития человеческого общества и движение за его пределы — реакционно (да, да!), а самое замечательное состояние для трудящегося — состояние рабства.

Мейер не за страх, а за совесть обосновывал «законность» колониальной политики своих империалистических хозяев и изображал империалистов культуртрегерами. Он для этого прибегал к любым фальсификациям истории. Краеугольный камень его «теории» — насквозь лживое положение, что развитие общественных отношений идет не по восходящей линии, а циклически, по замкнутому кругу: «с падением древнего мира развитие начинается сызнова, и она (история. — Р. Б.) снова возвращается к тем первым ступеням, которые уже давно были пройдены». Каждый цикл он делит на три стадии: древность, средние века и новое время, и заявляет, что античный период, мол, тоже знал свою древность, средние века и новое время. Его древность, дескать, — это родовой строй, его средние века — феодализм (особый, античный феодализм), его новое время — уже существовавший когда-то античный капитализм. Но так как древние не сумели удержаться на стадии капитализма, то история, мол, вновь пошла по однажды уже пройденному кругу. И вот это-то и был регресс, ибо после капитализма вновь расцвел феодализм!

Вывод Мейера был таков: не повторяйте ошибок древности, не дайте сгнить капитализму!

С фактами, которые противоречили его положениям, Мейер поступал так же, как колониальные жандармы с восстающими деревнями: объявлял их не доказавшими своего права на существование и списывал в расход. Но как было обойти вопрос о рабстве в древнем мире? Объявить и его несуществовавшим? Это было немыслимо.

Выход, впрочем, нашелся. Дело в том, что рабство отнюдь не было Мейеру не по душе. Оно и ему, и его империалистическим хозяевам было на руку даже больше, чем феодальная форма эксплуатации, при которой трудящийся в какой-то мере все же самостоятелен, поскольку обладает собственными средствами производства. И Мейер проделал следующий вольт. Используя неосвещенность истории Востока, особенно древней, он заявил, что «Запад», знающий прогресс, отличается от «Востока», якобы не знавшего никакого развития, тем, что «Запад» испытал благотворное влияние рабства, а на «Востоке» рабства не было! Отсюда следовало и общее заключение: рабство есть прогрессивный фактор развития человечества на любой исторической ступени (не исключая, таким образом, и наших дней), а значит надо поскорее вводить его и там, где оно пока отсутствует.

Чудовищно? — Послушайте самого Мейера: «ни в чем так явственно не проявляется современный (здесь — в смысле «вечный», «нестареющий». — Р. Б.) характер рабства, как в том, что раб, подобно современному промышленному рабочему, при благоприятных обстоятельствах мог достигать благосостояния и богатства, между тем, как средневековый крепостной, колон позднего периода Римской империи, *villain* феодальной эпохи были наследственно связаны с сословным состоянием и вместе со всеми своими потомками никогда не могли из него выйти».

Трудящийся может быть доволен только в том случае, если он раб, — какое другое заключение мыслимо отсюда сделать? Никакого! Причем Мейер не забывает поманить и современного раба — наемного рабочего капитала надеждой на «благоприятные обстоятельства»: если они, мол, создадутся, то ты сможешь «выйти в люди». Старайся!

И еще одно характерно в приведенном излиянии Мейера. Все рассуждение потребовалось ему для подтверждения кульминационного пункта: что ни средневековый крепостной, ни колон, ни *villain* феодальной эпохи не могли выйти из своего наследственного состояния. Но это неверно — могли выйти; более того — не раз пробовали выходить! Поскольку, однако, делали это таким путем, который Мейеру выгоднее всего скрыть, чтобы ни-

кому не пришло в голову пробовать его снова, постольку Мейер прикидывается младенцем, никогда не слыхавшим о революционных крестьянских войнах.

Духовным отцом Мейера был Гегель, доказывавший в своей «Философии истории», что вершина «мирового духа» — Пруссия с ее прусской казармой, прусским фельдфебелем и прусскими шпицрутенами; что этот «мировой дух» двигался к совершенству по строго ограниченному пути, и те страны, которых он не задел, вообще остались вне исторического развития; а обосновывался он лишь в некоторых избранных местах — Китае, Индии, Вавилоне, Ассирии, Греции и Риме, да и то — в прошлом, так что сегодня с ними считаются как с живыми развивающимися организмами нечего...

Мейер «развил» положения учителя и еще больше взрыхлил почву для всех последовавших за ним расистов. Он уже прямо выдвинул теорию, что решающее значение для развития культуры какого угодно народа имеет лишь первоначальное предрасположение и способности племени, т. е. по существу одни лишь свойства «крови», «расы». Отсюда до фашизма расстояние оставалось короче воробьиного носа...

Еще более циничны последователи Мейера в наши дни. Это объясняется не только общей деградацией буржуазной науки, но и тем, что усилился страх империалистов перед революционным движением угнетенных колониальных народов. Существует Советский Союз, существуют в нем равноправные среднеазиатские республики, шагающие вперед семимильными шагами и служащие примером для всех колониальных народов мира, колоссально возросло возмущение колониальных народов империалистическим гнетом — и империалистические хозяева требуют от своих ученых прислужников: к черту всякие завитушки и фиговые листки, когда разговариваете с нами, — некогда! Выкладывайте прямо: что нужно, чтобы удерживать колониальные народы в уезде? Живо!

И в журналах и «трудах», которые не рассчитаны на массовое чтение, ученые холопы «выкладывают» все без стеснений.

Наиболее влиятельны в современной буржуазной этнографической науке, которая теснее всех других исторических наук соприкасается с проблемой развития колони-

альных народов, две школы: английская, так называемая «функциональная», ведущая свое летосчисление от Бронислава Малиновского, австрийского поляка, интернированного в 1914 году англичанами и перешедшего к ним на службу, как только выяснилось, что Австрии уже не быть сильной империалистической державой, а закончившего свои дни профессором Иэлльского университета в США, и американская, так называемая «психологическая» школа.

Основные положения Малиновского, апробированные английским правительством, как практическое евангелие каждого британского колониального чиновника сегодня, таковы:

1. Колониальные народы вообще не имеют никакой истории, а если она и есть, то все равно не поддается изучению. (Как видим, Гитлер нисколько не был оригинален, одоблив приказ Рейхенау, гласивший, что все, что будет уничтожено и разграблено немецко-фашистской армией на востоке, не имеет какой бы то ни было историко-культурной ценности, — приказ, точно совпадающий с первым основным положением Малиновского.) 2. «Культура» есть совокупность функций общественных учреждений и обычаев, а те и другие в конечном счете определяются физиологией индивидов, составляющих данное общество. 3. В соответствии с этим общественный быт и культура каждого колониального народа представляют собою систему некоторого равновесия, которую нельзя нарушать (Малиновский никогда не забывает сделать вид, что душевно печется о культуре колониальных народов!). Надо только выяснить функции традиционных общественных институтов и обычаев данного народа и вместо пренебрежения ими поставить их себе на службу с помощью местных вождей. 4. Так как внедрение элементов иной, например, европейской цивилизации (ну, скажем, всеобщее начальное обучение) нарушило бы сложившееся равновесие, то этого надо избегать.

Пусть все идет, как шло прежде, только бы не хуже; неграмотный туземец, не знающий, что такое врачебная помощь, лучше грамотного и требующего лекарств, — вот утренняя и вечерняя молитва «функциональной» школы, так пришедшейся по сердцу теряющему зубы британскому льву.

Идущие по стопам Малиновского американские «психологи» более агрессивны. Им мало того, что «антропология» (как они называют этнографию) «может быть использована в колониальной администрации в специфической области регуляции отношений между белыми и так называемыми «примитивными» народами. Одним из первых это открытие совершило и, практически использовало английское правительство, которое сделало правилом, что колониальные администраторы, работающие с туземными народами, должны быть квалифицированными антропологами» (из вышедшей в Нью-Йорке в 1942 г. книги Чеппли и Куна «Принципы антропологии»). Им мало этого. А почему не перенести методы управления колониальными «примитивными» народами и на белых рабов капитала в метрополии? И Чеппли и Кун с большим удовлетворением отмечают далее, что попытки в этом направлении велись, что некий профессор Уорнер даже достиг особенно значительных результатов, поставив свои «исследования» на практическую службу Западной Электрической компании, а профессор Е. Дж. Реслисбергер из Харвардской школы деловой администрации и В. Дж. Диксон из Западной Электрической компании в книге «Управление и рабочий» этот опыт умело обобщили...

«Психологи» из кожи лезут вон, стремясь доказать, что такие явления современности, как фашизм, милитаризм и т. д., неизбежны и неустранимы, так как являются порождением не изменного расово-психологического комплекса определенных народов. Одни расы, мол, от века вожди, другие — рабы, а учение Маркса о классах и классовой борьбе недоказуемо, — история, вообще, не знает классов, есть только сословия и касты. Так и пишут: «Трудно было бы доказать существование социальных классов в Соединенных штатах!» Спят и видят: как бы им и эксплуатируемый рабочий поверил — «все дело, мол, в психологии, а не в разделении на классы».

Наиболее широкое поле для «обоснования» всех подобных положений «наукой» предоставляла до сих пор древняя история — в силу наименьшей своей изученности и трудности ее изучения. Особое значение же приобрела сейчас история древнего Востока: крепнущее революцион-

ное самосознание угнетенных народов Востока ищет прежде всего в собственной, конечно, истории закономерностей общественного развития, и буржуазные школы поэтому особенно усиленно пытаются отравить их гнилостным ядом «доказательств», что у Востока, мол, свои закономерности развития — особые, ничего общего не имеющие с установленными классиками марксизма, и что поэтому им путь Советского Союза не указка.

Так древняя история вышла сегодня на передний край идеологической борьбы за светлое будущее народов Востока, в подлинно боевое охранение их национальной гордости, национальной чести, национальной независимости.

...И я невольно еще раз задумываюсь над тем, что, пожалуй, недаром лагерь на Топрак-кале показался мне сразу фронтовым лагерем.





8. ЗАГАДКА КВАДРАТНОЙ ВАРЫ И ПОПУТНО О ГОСПОДИНЕ ПОЙНТОНЕ

Постепенно — и довольно быстро — привыкаешь и к лагерному распорядку дня, и к неожиданным песчаным шквалам, налетающим на Топрак-калу, и к тому, что буханки хлеба после этого высыхают так, что нож их уже не берет и дежурный по столовой пилит хлеб пилой; даже к тому привыкаешь, что если брызнет раз за лето дождик (мне как раз посчастливилось его застать), то капли с полотнища палатки скатываются желтые, как иод. Сперва, видя такое, кажется, что пустыня помутила тебе разум; но потом, несколько придя в себя, понимаешь, что объяснение этому простое: ведь прежде чем оторваться от края палаточной крыши, капля долго катилась по полотнищу, она стала желтой от песка.

У каждого в лагере есть свое дело. Он должен заниматься им все время. Постепенно устанавливается распорядок и моего дня.

Утром вместе со всеми отправляюсь на раскопки, а потом, насмотревшись досыта, что еще появилось за день на белый свет из-под ножей и щеточек археологов, отправляюсь в палатку Толстова — все равно, она целый день пуста, Сергей Павлович почти не уходит с городища — и принимаюсь за чтение всякой нужной мне, чтобы лучше понять, что я вижу, литературы, — прежде всего, за чтение книг самого Толстова. Они у него еще в верстке — типографский полуфабрикат книги — несшитой, необрезанной, без переплета, куда еще можно вносить последние исправления: «Древний Хорезм» — альбомного формата том в 350 страниц плюс 90 таблиц — доктор-

ская диссертация Толстова, свод его довоенных изысканий и раскопок, и «По следам древнехорезмийской цивилизации» — книга, включающая в себя основные результаты работы также послевоенных лет. Она написана популярнее «Древнего Хорезма», рассчитанного в первую очередь лишь на специалиста, и предназначается для научно-популярной серии Академии наук¹.

Среди гранок «По следам...», наряду со всякими рабочими записками Толстова, относящимися непосредственно к исправлениям текста книги и вложенными в середину, чтобы не потерялись, мне попала, возможно, лишь случайно заложенная туда, газетная вырезка с открытым письмом киргизского писателя Касымалы Баялинова британскому делегату в Комитете опеки Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций господину Пойнтону. Вырезка была уже чуть пожелтевшей, — сухой воздух пустыни чрезвычайно быстро лишает бумагу белизны.

Г-н Пойнтон, выступая в Комитете опеки, провел сравнение между народами, входящими в состав Британской империи (или, как с некоторых пор Империя стала именовать себя — «Содружество наций»), и народами, добровольно составившими Союз Советских Социалистических Республик. Британский делегат нашел при этом, что разница в положении тех и других лишь географическая: «между Англией и ее колониями лежат моря и океаны, а Москву от Владивостока отделяет сухопутная территория». И, будучи верным последователем мистера Малиновского и не менее верным проводником политической линии своего шефа — министра иностранных дел, мистера Бевина, выдвинул следующее положение: «нет никакого основания утверждать, что колониальные народы недовольны именно потому, что они являются колониальными народами»!

Все эти параллели и парение мысли понадобились г-ну Пойнтону, чтобы доказать, что независимость не является обязательным спутником свободы, что можно быть свободным без независимости, что вовсе не всем народам

¹ Обе книги вышли в самом конце 1948 года. «Древний Хорезм» — в издании Московского государственного университета им. Ломоносова, профессором которого является Толстов, и «По следам...» — в издании Академии наук СССР. Обе уже разошлись.

и к лицу-то какая-то национальная гордость — колониальным даже значительно вольготнее без нее; что, короче, им нужно только одно: дивная отеческая опека Британии, или, скажем, — здесь г-н Пойнтон любезно поклонился в сторону американского делегата, — другой высокоразвитой культурной державы.

Так как британский делегат, излагая свои аргументы, стремился убедить в их основательности весь мир, то киргизский писатель Баялинов, вняв этим призывам, решил помочь британскому делегату в столь многотрудном подвижничестве и обратился к нему с несколькими сочувственными практическими предложениями, — так сказать, в развитие мыслей г-на Пойнтон.

Даже самый строгий спикер английской палаты общин не нашел бы ни единого слова в предложениях Баялинова, к которому можно было бы придраться. Предложения его были изложены в безупречно корректной форме, а главное, как все предложения советских людей, отличались замечательной конкретностью.

Вот что предлагал Баялинов господину Пойнтону и что заботливо сберегал профессор Толстов среди гранок своих научных книг:

«Поскольку ваша колониальная империя представляет собою такой же, как Вы полагаете, интернациональный организм, что и наш Советский Союз, — мы хотели бы осведомиться о добром быте малайских импровизаторов, почетном быте их собратьев — сикхов и даяков. Многие ли из них избраны в одну из палат парламента? И чьи книги читают в Бирмингеме, Ливерпуле? Я очень был бы Вам благодарен, господин Пойнтон, за соответствующую справку.

Мы знаем, что стоит только честным людям сговориться, и они смогут на благоразумных, обоюдно выгодных условиях обменяться не только сепараторами, фотоаппаратами, пенькою, медом, но также и медом эрудиции — предметами и явлениями культуры.

Осмелюсь, господин Пойнтон, сделать предложение по некоторым объектам культуры, наиболее близким моему писательскому ремеслу. Имею в виду обмен книгами, затем кинофильмами, в основу которых легли наши киргизские и ваши, скажем, фиджийские (Вы упоминали именно этот остров) сценарии; обмен нотами наших киргизских и ваших колониальных опер...

Так как у вас, в Лондоне, несомненно, есть обменные фонды музеев искусства, есть на складах запасы книг разных колониальных наций, есть продукция нотопечатен Африки и Полинезии, — я предлагаю принять обоюдно нижеследующие пункты:

а) Книги... Поскольку мы не знакомы с языком папуа, просим прислать нам для комплектования наших библиотек папуасские романы, переведенные на английский язык... Нас интересуют романы малайцев, премированные в Лондоне, сюжетные поэмы жителей Золотого берега, новеллы занзибарцев, бечуанцев, переведенные на английский язык, а также на языки шотландский, ирландский и т. д.

б) Театральные пьесы. Нас интересуют колониальные драмы, которых, повидимому, немало в азиатских и иных ваших владениях. Наших театральных деятелей интересуют режиссерские экземпляры пьес, поставленных театрами африканской Акры и индусской Агры; киргизские режиссеры рады были бы изучить такие экземпляры.

в) Песни. Нельзя ли нам также получить для популяризации песни бирманских композиторов (мы ведь с ними — азиаты, и не такое уж большое расстояние разделяет наши страны). Взамен пришлем песни и оперные партитуры народного артиста СССР Молдыбаева, патефонные пластинки, напетые народной артисткой СССР Сайрой Киизбаевой; известите нас, господин Пойнтон, о том, кто именно в ваших колониях получает высокие премии за создание своих национальных гимнов, т. е. такую, например, премию, какую за текст киргизского гимна получили писатели А. Токомбаев, М. Токомбаев, К. Маликов, Т. Сыдыкбеков. Для ознакомления жителей Барбадоса, Бермуд и пр., и пр. мы готовы выслать все шестнадцать гимнов союзных республик с присовокуплением семнадцатого гимна, гимна СССР. Может быть, музыка, а, может, также и текст понравятся жителям этих местностей...»

Кончалось письмо так:

«Горим нетерпением, которое, несомненно, и Вы разделяете: чем больше наших экспонатов будет в ваших колониях, а ваших у нас в республиках, тем скорее прояснится и окончательно восторжествует истина, столь дорогая как лично Вам, господин Пойнтон, так и всему человечеству!

Мой адрес: Киргизская Советская Социалистическая Республика, столица республики — Фрунзе, Киргизский филиал Академии наук, Касымалы Баялинову.

Жду вашего ответа».

Но ответа от г-на Пойнтон Касымалы Баялинов, насколько мне известно, не дождался.

С высоких стен топрак-калинских башен особенно хорошо видны следы поившего когда-то здешние земли мощного оросительного канала. Он тянулся с Аму-дарьи издалека. Хорезмский оазис расположен в низовьях реки, и тут, если не начать копать канал много выше мест, которые предназначены для орошения, вода до них не дойдет.

В верховьях дело обстояло, конечно, иначе. Большой уклон местности позволял строить каналы короткие, не требовавшие труда многих тысяч людей, и процесс развития ирригации в Средней Азии так и шел — от верховьев рек к устью. Сперва, еще во времена каменного века, когда охотничьи и рыболовные, а затем, по мере приручения диких животных становившиеся скотоводческими, племена были весьма невелики (и не могли быть большими: из-за малопродуктивных способов добычи пищи и одежды требовалась обязательно большая территория даже для небольшой группы людей), — в те поры ирригация, естественно, могла появиться лишь там, где не требовала труда тысяч. Но постепенно, по мере того, как использование земледелия значительно повысило производительность труда, а с нею — и рост численности людей племени, последним пришлось начать поиски новых земель, пригодных для посева. Отрываться от воды было нельзя. И они пошли вслед за нею — вниз по реке.

Но чем ниже они спускались, тем большие каналы приходилось рыть, тем большие головные сооружения возводить, тем большее количество людей для всего этого требовалось, тем сложнее становился уход за оросительной сетью, тем более регулярным и требующим специальных знаний должен был быть этот уход.

Если первые насельники в верховьях рек не знали, как им избавиться от лишних людей племени в тех случаях, когда племя разрасталось, то в момент создания каналов на среднем и нижнем течении основных среднеазиатских рек об этом уже и речи не могло быть: напри-

мер, во время войн племен между собой самой желанной добычей становится военнопленный — даровая рабочая сила. Он еще находился во владении всего племени, ибо при том уровне развития производительных сил племя только совокупными, едиными усилиями, ни под каким видом не теряя своей целостности, именно как единого большого общественного организма, способно было к созданию и поддержанию в порядке оросительной системы, но, тем не менее, это уже самый настоящий раб, без труда которого создание ирригационной сети такого размаха, какой мы наблюдаем во всех странах древнего орошения, было немыслимо.

Вместе с возникновением класса рабов складывается постепенно в обществе рабовладельцев и специальный аппарат, держащий этих рабов в подчинении и принуждающий их к работе по строительству каналов, орошающих поля уже не одного отдельного рода или небольшого племени, а целого союза племен. Это аппарат классовый, ибо в нем все рабовладельцы, как власть имущие, противостоят всем рабам, лишенным каких бы то ни было прав; это аппарат централизованный, ибо должны быть централизованными и каналы, строительство которых с помощью рабов этот аппарат обеспечивает; это аппарат принуждения, короче — это уже государственный аппарат.

И вместе с функцией принуждения рабов к труду он с самого начала осуществляет также функцию централизованного управления ирригационной системой. Развитие ирригационной сети порождает требование выделить специальных людей по надзору над нею. Появляется нужда в специальных людях, занимающихся организацией работ по регулярной очистке каналов, по планомерному распределению воды, научной деятельностью — арифметикой, геодезией, геометрией, метеорологией. Кочевые скотоводческие племена могли обходиться без этого, община же оседлых скотоводов-земледельцев, благополучие которой основывается на искусственном орошении, без всего этого обойтись не могла. При продвижении ирригационной системы вниз по реке, при удлинении каналов государство крепнет все более и более. И самые мощные государственные образования, обладающие, — надо также отметить, — наибольшим числом рабов, складываются именно по среднему течению и в низовьях

рек, причем не только в Средней Азии, а и во всех странах, где земледелие основано на искусственном орошении.

Хорезм — одно из именно таких государственных образований древности.

Еще в пятидесятых годах прошлого столетия Маркс и Энгельс, занимаясь причинами восстания племен в Индии против английского владычества, а в связи с этим вообще историей Востока, неизбежно установили три основных предпосылки расцвета ирригационного хозяйства на Востоке.

Первая: наличие сплоченной общины, без совокупного и одновременного труда которой немыслимо создание даже малой оросительной сети. Вторая: рабство. На той ступени развития производительных сил, которая была достигнута в древности, только оно могло обеспечить племенам быстрый и резкий прирост рабочей силы, потребной для прорытия и дальнейшего поддержания в порядке больших каналов. И, наконец, третья: мощное, политически централизованное государство. Поскольку для создания и нормального функционирования большой ирригационной системы постоянно приходилось прибегать к рабскому труду, возникла потребность и в создании постоянного же аппарата власти для принуждения раба к этому труду, а этот классовый аппарат принуждения и есть то, что именуется государством.

Однако подтвердить свою точку зрения ссылками на какие-нибудь серьезные археологические данные, добытые на Востоке и говорившие об этих процессах, Маркс и Энгельс не могли: таких данных в их пору не существовало. Да и было бы странно, если бы какой-нибудь буржуазный археолог вдруг принялся расходовать отпущенные ему средства (а раскопки ведь стоят очень больших денег!) на то, чтобы добывать подобный материал. Как заметил однажды Вильгельм Либкнехт: чего ради буржуазия станет раскошеляться на оплату собственного смертного приговора? А что значит добывать данные, подтверждающие рабовладельческий характер восточных деспотий — и, значит, опровергающие положения Мейера об античном феодализме и античном капитализме? Это значит подтвердить археологическим материалом, что пути развития человеческого общества едины всюду, что у Востока нет никакого особого пути, противостоящего

пути всего остального человечества, — и, следовательно, конец буржуазного владычества не за горами и на Востоке.

Все эти данные пришлось добывать советским археологам. В числе первых из них был Толстов. Он принялся за прослеживание динамики развития ирригационной системы в древнем Хорезме — она могла дать наиболее убедительные археологические свидетельства о развитии классового общества на Востоке. Разве не была оросительная сеть самым главным проявлением здешней цивилизации того времени? И разве история народа (именно трудящихся масс народа) не сказывалась прежде всего на состоянии ирригационной сети? Под влиянием чего же эта сеть пульсировала — то сжималась, оставляя пустыне поля, то вновь увеличивалась, расчищались заброшенные старые каналы, строились новые. Что было основной причиной этого?

Толстов решил искать ответа на месте. Он вышел на трассы когда-то живых, а ныне давно уже занесенных песком каналов в пустыню. Потом взлетел над пустыней на самолете. Решил: с воздуха должны быть виднее следы древних арыков, — бросится в глаза хотя бы пунктир их, столь легко при наблюдении с земли пропадающий из поля зрения в бесконечных переливах барханов.

Оказался прав. Постепенно смог нанести на карту почти всю оросительную сеть Хорезмского оазиса в древности. (К слову сказать, оказавшись пионером в деле применения авиации для нужд археологии в пустыне. Всегда так бывает, что передовая научная методология вызывает к жизни и передовую технику исследования.)

Не проще, однако, чем нанести на карту всю древнюю оросительную сеть, было датировать ее. Но, в конце концов, удалось и это. И тогда перед глазами предстала выразительнейшая историческая картина, — не эскиз, не схема, не вольный набросок, допускающий какие угодно толкования, а полнокровная, многокрасочная, убедительная уже и в конкретных деталях — такая, которую не оспоришь! — живая картина развивавшегося, а вовсе не раз навсегда данного прошлого Средней Азии. Ирригационная система «дышала», неизменно подчиняясь одной закономерности: слабела централизация государства — приходила в упадок и она; крепло государство — и она росла. Причины ослабления могущества государ-

ства удалось разыскать не только во-вне государства (хотя, конечно, такие из них, как иноземные нашествия или постоянные набеги кочевников со счетов сбрасывать не приходилось), но прежде всего — в н у т р и самого государства: в росте феодальных тенденций, разлагавших мощь общины, на которую восточная деспотия опиралась, в открытых вспышках классовой борьбы эксплуатируемых рядовых общинников совместно с рабами против феодализирующей верхушки общины. Лишь в той мере, в какой мощь рабовладельческого строя Хорезмского государства была ослабляема этими в н у т р е н н и м и причинами, — лишь в этой мере оказывались способны влиять на нее также причины внешние. Сравнительное состояние ирригационной системы по векам показывало, что до того, как рабовладельческий строй древнего Хорезма не был разъеден ростом феодальных отношений и з н у т р и, никакие внешние причины не смогли нанести ей существенного ущерба.

Не раз и не два приходится мне перечитывать верстку толстовских книг, — сразу, хотя бы даже в общих чертах, не так просто охватить историю совершенно неизвестной тебе прежде цивилизации, обнимающую несколько тысячелетий.

Перед вылетом из Москвы я попробовал найти в Ленинской библиотеке что-нибудь о древнехорезмийской цивилизации в энциклопедиях, учебниках древней истории и тому подобных книгах, но едва ли не самым исчерпывающим источником оказалась Большая Советская Энциклопедия, — она хоть как-то упоминала о домусульманском периоде истории Хорезма. Правда, и в ней всему этому этапу был уделен только абзац. Точно: один абзац. Больше материала не было и в распоряжении Большой Советской Энциклопедии в 1934 году, когда выходил том на букву «Х». А теперь передо мною две книги, посвященные специально этому, общим объемом до восьмидесяти печатных листов!

И чем больше я вчитываюсь в них, тем больше убеждаюсь, что шутка Толстова, которую он как-то обронил в разговоре: что неизвестно, мол, чего больше пришлось ему перекопать — земли или книг для извлечения на свет «негров», — в общем почти и не шутка. Со страниц толстовских книг встает то этнограф, то филолог, то историк искусства, то нумизмат, то... Какой разносторонний

исследователь, какой многогранный талант! Причем путь, которым он ведет за собою, от этого, конечно, не становится легче для неискушенного, — наоборот, только труднее; не раз и не два остановишься на крутом подъеме, чтобы отдышаться, перевести дух от лавины доказательств, которая на тебя обрушивается; но когда все же добираешься до самой вершины, на которую привел ученый, какая необъятная ширь открывается оттуда! На тысячелетия вдруг начинаешь видеть — и каждую деталь с такой отчетливостью, словно бинокль приложил к глазам! А когда окончательно придешь в себя после восторга, охватывающего в первую минуту, то с радостью замечаешь еще одно: что шел единственно правильной дорогой, что все другие тропки, манившие своей пологостью, кончились еще далеко-далеко внизу, и — тупиками.

Как бы ни росла специализация различных отдельных наук по мере приобретения человечеством новых знаний, есть все же в каждой науке свой предел, за которым, если обособливать ее дальше, вместо более детального рассмотрения предмета, начинается его искажение. Что, скажем, толкового сможет дать этнограф, изучающий историю жилища какого-нибудь народа, если уверует в справедливость положения, будто он может отвлечься от того, наемный ли дом перед ним, или собственный, на какие доходы живет житель этого дома, и какой наивысшей техники возведения построек достигло общество в данное время? Да если от всего этого отвлечься, если приняться за рассматривание дома только со стороны одной единственной его функции: служить кровом, — то рабочая казарма окажется совершенно равноценна загородной вилле капиталиста!

Впрочем, разве не это, как раз, доказывают все и всякие буржуазные теории, рассчитанные на потребление их трудящимися? И сознательно ли классово-корыстны взгляды данного буржуазного ученого, или (случается еще и так) непреднамеренны, — они в одинаковой степени вредны всегда.

Советский этнограф-историк борется против них со всей страстью, на какую способен большевик. Превратить историю в собрание никого ни к чему не обязывающих анекдотов? Расщепить ее на ничем не связанные друг с другом волоконца, отдельно — искусства, отдельно — по-

литики, отдельно — экономики и т. д., чтобы создать видимость, что никаких общих закономерностей развития нет, да и вообще ничего-то целого нет? Нет, простите, — яростно наступает Толстов, — пренебречь общими закономерностями — это значит ничего не понять и в частности! Буржуазная наука не смеет утверждать, что в чем — в чем, а в частности она непогрешима! Она в частности так же тенденциозна, как в целом!

Он вступает в бой по поводу «частностей».

С самого начала: на чем, собственно, основываются буржуазные ученые, говоря о феодализме на Востоке до нашей эры?

На том, что все древние авторы, в особенности греки, описывающие поход Александра Македонского, которому никто не оказал такого сопротивления, как свободолюбивые и сплоченные народы Средней Азии, постоянно отмечают здесь наличие громадного количества укрепленных городов? А раз, мол, налицо были уже укрепленные города, за стенами которых скрывалось все группировавшееся вокруг них население, то не может быть сомнений в существовании и владетелей подобных замков — феодальных баронов? Так?

Хорошо. В основании всего этого здания, значит, — ссылки на древних, — подытожил Толстов. — Ну-ка, прочитаем сами, что писали древние.

И с такой же кропотливостью, с какой он на раскопках исследовал каждый комочек земли, принялся исследовать в библиотеках тексты, на которые ссылались буржуазные историки. Что ему было до их мировой научной славы, если их выводы касательно основного — древности феодализма на Востоке — ни за что нельзя было признать правильными; если они шли вразрез с утверждениями Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, со всеми положениями исторического материализма!

Толстов собрал поистине все, что есть по вопросу о «феодальных» городах древней Средней Азии. Итак, население за стенами этих городов, действительно, жестоко сопротивлялось чужеземным завоевателям. Гордые и независимые предки нынешних народов Средней Азии давали суровый отпор всем, кто зарился на их богатства (а богатства были немалые!), на их свободу. Греки отмечают, что женщина — вождь племени массагетов, обитавших на территории нынешней Туркмении, Томирис,

когда персидский царь Кир отправился походом на массагетов в пески Кара-кумов, поклялась навсегда насытить его жажду чужой крови. И сдержала свое обещание: после боя с Киrom бросила отрубленную голову «царя царей», как он именовал себя, в наполненный кровью мешок. Вождь местных народов древнего среднеазиатского государства Согда в их борьбе за независимость против греческих войск, приведенных Александром Македонским, Спитамен, был одной из самых героических фигур древней истории нашей Родины. С царем Хорезма, во владениях которого Спитамен находил и убежище, и поддержку населения, Александр был вынужден говорить, как равный с равным и даже не пытался захватывать Хорезм. О силе этого хорезмийского царя (его звали Фарасман) говорит хотя бы такое обстоятельство: Фарасман предложил Александру союз, чтобы расправиться с неподчиняющимися ему, Фарасману, колхами, а Колхида — это район вблизи нынешнего Сухуми. На власть вот за сколько километров претендовал Фарасман!

В один голос отмечают гордость и свободолюбие обитателей Средней Азии и греческие авторы, и китайские хронисты, — китайцы тоже были знакомы с ними, доставалось и китайцам, когда они пробовали совершать интервенционистские вылазки в Фергану. И, непременно, всеми древними авторами подчеркивается одна деталь: грандиозность размеров «городов» Средней Азии; никогда здешние города впоследствии, в эпоху уже бесспорно феодальную, не достигали в массе своей подобных размеров. Почему кстати?

Но никого, кроме Толстова, это не волновало. А что собственно интересного в том: большие города, или не столь большие? Ведь доказано, что они — феодальные? Доказано! А от их размера суть дела не меняется!

Толстов, однако, держался иного мнения. Он находил, что умозрительных спекуляций достаточно, когда имеешь дело со схемой, но если это такая схема, которая избегает соприкосновения с живыми фактами, то цена ей грош. Что скажут о себе сами города? Больше ответа искать на это было негде. И от разысканий в библиотеках Толстов перешел к поискам в пустыне.

Впервые он побывал в Хорезмийском оазисе в 1929 году, города же, о которых писали древние, нашел только в 1939-м, — полуразвалившиеся укрепленные стены их.

Как он и предполагал, города эти — Кюзели-гыр и Калалы-гыр — оказались чрезвычайно странными: за их стенами, на огромной внутренней площади городищ не встретилось ни малейших признаков никаких жилых домов. Но в таком случае вокруг чего и с какой же целью были возведены мощные стены? Стены возводятся обязательно, чтобы укрывать что-нибудь, — что же эти укрывали?

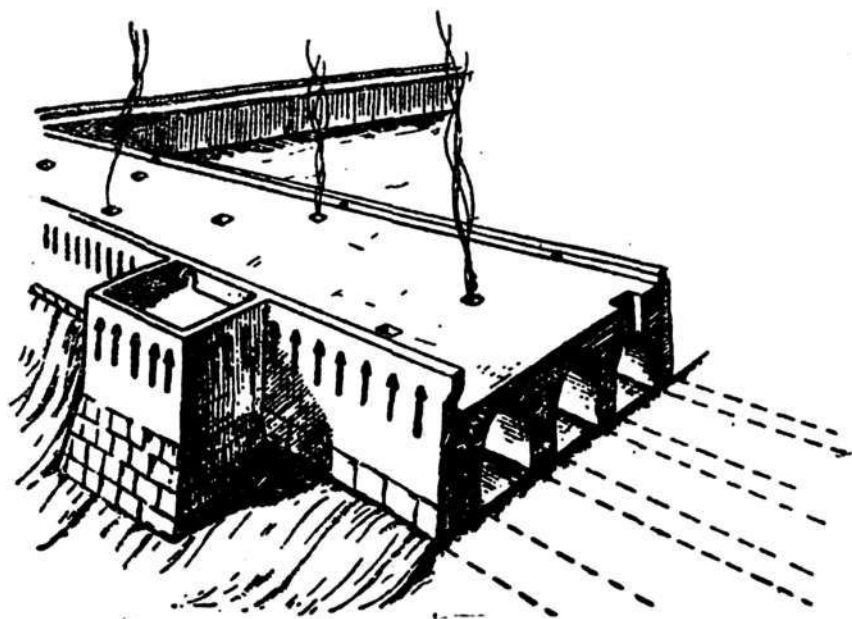


Рис. 10. Где жили в этих городищах люди? В стенах!

Сторонники признания «городов» древней Средней Азии феодальными городами, естественно, не искали параллелей к ним в обществах дофеодальных, — к чему? Толстов же, еще до того, как отыскал Калалы-гыр и Кюзели-гыр на местности, предполагал, что встретит что-то, не имеющее никакого отношения к городам феодальной эпохи. И оказался блистательно прав. Кюзели-гыр и Калалы-гыр были краалями — вот чем! С той только разницей, что в краале — этом загоне для скота в деревнях африканских негров — ограда возводится из стремительно растущего на африканской почве непролазного кустарника, насаженного в два ряда, — хижины самого населения расположены в узком проходе между ними, — а в Средней Азии ограда загона оказалась сложенной из кирпича-сырца.

Но жили ли все-таки в этих городищах люди?

И где?

Да, жили. Не за стенами их, однако, а в самих стенах! Тянущиеся внутри стен узкие галлерей, освещающиеся через люк в потолке, — это не только крепостное убежище жителей Калалы-гыра и Кюзели-гыра, но и их жилье, — «один огромный, длинный дом, общим протяжением (если суммировать параллельные помещения) от 6 до 7 километров, где обитало, по самым скромным подсчетам, несколько тысяч человек». Причем «отсутствие признаков внутреннего членения обитающей в поселении общины и сколько-нибудь значительной социальной дифференциации жилищ (вот куда уходит корнями архитектура общинных домов Топрак-калы! — Р. Б.) заставляет предполагать сохранность достаточно архаических форм общественной организации. «Городище с жилыми стенами» — это поселение рода или группы родственных родов» («По следам древнехорезмийской цивилизации», стр. 95).

Нет, еще очень далеко отсюда до феодализма! В совсем иные времена — в гущу родоплеменного уклада скотоводческих племен, переходящих к оседлости на базе искусственного орошения — вот куда уводят «городища с жилыми стенами». Где в них место феодальному барону? За стенами, служившими этим племенам жилищем, они укрывали самое большое богатство свое — скот (вот, кстати, почему так огромны и вместе с тем незастроены внутренние площади городищ).

Одновременно прозрачным стало одно место, бывшее доселе совершенно непонятным, из священной книги зороастрийской религии — Авесты, — то, где описывается «квадратная Вара», построенная мифическим героем Йимой (Вара — укрепленное поселение):

«33. Йима построил Вару, длиной в лошадиный бег (мера длины около 3 километров. — Р. Б.) по всем четырем сторонам и перенес туда семена, быков, людей, собак, птиц и огней, красных, пылающих. Он сделал Вару длиной в лошадиный бег по всем четырем сторонам жилищем для людей, Вару длиной в лошадиный бег — загон для скота.

34. Туда он провел воду по пути, длиною в хатр (около 1,5 километра)... Там он построил жилища, дом, свод, двор, место, закрытое со всех сторон.

37. В широкой части постройки он сделал девять проходов — шесть в средней части, три в узкой...

38... И сделал он вход и световой люк...» (цитировано в «Древнем Хорезме», стр. 81).

Но стоит отметить, что еще за десять лет до выхода в свет «Древнего Хорезма» и за год до того, как Толстов нашел Кюзели-гыр и Калалы-гыр на местности, он в статье «Основные вопросы древней истории Средней Азии» («Вестник древней истории», № 1 (2) за 1938 год) уже приводил эту выдержку из Авесты и добавлял к ней:

«Всего вероятнее видеть в этих городах укрепленные поселения земледельческих родов, близкие по своему характеру к тому типу поселений оседлых индейцев степной полосы Северной Америки, которые известны под названием пуэбло».

Что сильнее оправдавшегося научного предвидения может подтвердить правильность применяемой методологии!

Но вместе со столь пунктуальным совпадением данных Авесты и данных археологии появилось право, сразу неизмеримо расширившее количество литературных источников о древнем Хорезме и сопредельных с ним странах, — право использовать Авесту, как достоверный документ и в части описания социального типа общества, современного «квадратной Варе». А Авеста рисовала его достаточно определенно:

«Это общество оседлых скотоводов и земледельцев, разводящих рогатый скот, коней и верблюдов, — излагает ее содержание Толстов. — Вокруг скота вращаются все имущественные интересы. Обилие стад, коней, земель, удобных для скотоводства, — вот о чем просят богов авторы Авесты. Вместе с тем земледелие, основанное на искусственном орошении, хорошо знакомо Авесте. Земледельческий труд считается почетным занятием, хотя о нем говорится сравнительно мало... Общество знает уже богатых скотом и бедных. Герои Авесты — Йима, Атвья, Пурушаспа и др. неизменно выступают с эпитетами: «богатый стадами», «богатый быками», «богатый конями». В их лице выступает могущественная скотовладельческая военная аристократия, боевыми и разбойничьими подвигами которой переполнены тексты. Объектом войн и набегов неизменно является захват скота.

Общество... выступает разделенным на касты: жрецов огня, воинов и рядовых общинников...» («По следам древнехорезмийской цивилизации», стр. 96).

Появилось право использовать и другие неоценимые литературные источники, которые прежде нельзя было применить к истории народов, обитавших именно здесь, в древнем Хорезме, с достаточным основанием, — описания древними, в первую очередь Геродотом и Страбоном, массагетов. Общество массагетов, образ жизни которых Страбон сближает со скифским, организовано так же, как у обитателей «квадратной Вары», описываемой Авестой.

Все яснее и яснее становилась темная история...

Марксистская методология — единственная до конца научная методология — подсказывала способ замечательного использования и таких материалов, которые дотоле совершенно пропадали для науки. Буржуазная историческая наука была вынуждена сдавать свои позиции шаг за шагом перед лицом истинной истории, восстанавливаемой трудом, страстью и талантом советского исследователя.





9. ЧТО ТАКОЕ „ВЕЗЕТ!“

— Некоторые говорят: «везет», — вот в чем дело! — иронически усмехаясь, ответил мне однажды Толстов, когда я его спросил, чем он объясняет свое постоянное «счастье» в раскопках.

Я решился задать свой вопрос Толстову не скоро после того, как приехал на раскопки. Думаю, что если бы спросил его об этом в первый день знакомства, то, вообще, не дождался бы ответа. В разговорах на подобные темы нельзя быть откровенным не до конца, а несмотря на утверждения шофера Коли, а также на сразу же чрезвычайно располагающую к Толстову простоту его в обращении с людьми, он не производил впечатления человека, столь уж легко раскрывающегося перед каждым собеседником. Наоборот, поначалу он предпочитал сам с разных сторон присмотреться к новому человеку.

После паузы он продолжал:

— И знаете, что, может быть, самое обидное в таких репликах, когда они до тебя доносятся? Ну, я понимаю, когда враг швыряет тебе в лицо: «вам везет — и только!» Тут все ясно. Так как ему не под силу опровергнуть твои выводы, то он пытается опорочить тебя, как персону. Удастся? — значит, вновь примется утверждать во всеуслышание, что достигнутые тобой результаты случайны, что научная их ценность равна нулю... Но ведь порою это обывательское «везет!» неслось и из своей среды. И думаете, люди отдавали себе отчет, что это их обывательское объяснение (как любая обывательщина в нашей обстановке!) имеет непременно политический эквивалент,

не говоря уж просто о том, сколько яд этого отзыва, выматывает нервов, здоровья, сил... «Эко диво, что Толстов в пустыне, где до него никто из археологов не пробовал своих сил, нашел нивесть что! Просто-напросто удача!» Но почему ж только Толстову удача? И почему не заинтересовался пустыней никто до него? Может быть, главное-то — в этом? Не в «везенье», а в том, что Толстов — советский человек, который считает историю прежде всего историей творящих ее трудящихся масс, что поэтому ему дороги памятники прежде всего их деятельности, а не одни экзотические раритеты, годные на то, чтобы сиять в коллекциях меценатов? Что ему проследить динамику развития оросительной сети, в которую вложены все мастерство народа, все силы его, вся душа, ценнее, чем откопать какой-нибудь, хотя бы и сумасшедшей рыночной стоимости, перстень какого-нибудь шаха? Что поэтому-то он забрался в пустыню?.. Давайте разбираться: почему здесь не копали прежде? Случайно? Вздор, конечно! Не копали потому, что... Кто занимался археологией в Средней Азии до советской власти? Из каких побуждений? Отыщите как-нибудь список господ членов «Туркестанского кружка любителей археологии», — был такой. Очень полезное чтение! Кого там найдете? Ученых? Нет. «Господин поручик такой-то», «коллежский асессор такой-то» — и все и далее в таком же духе: не знающие, что еще испробовать, чтоб не пустить себе пулю в лоб от гарнизонной тощищи, офицеры и чиновники.

Яснее ясного, что ими двигало! Одними — мечта о кладе (очень существенный момент!), другими — желание «поинтересничать» перед дамами и прослыть в «обществе» человеком с «запросами», третьими — и то, и другое. Нам трудно даже вообразить себе то общество! Правда, «кружок» этот, просуществовавший до самого 1917 года, находился, как это тогда называлось, «под высочайшим покровительством» туркестанского генерал-губернатора, а этот им не только от скуки занимался. А зачем? — спросите. А вот зачем. Это неважно, что когда одному из генерал-губернаторов доложили, что исторические памятники среднеазиатских народов приходят в ветхость, он ответил: «И чудесно! Чем скорее все это разрушится, тем лучше для нашей государственности!» Отвечать так — отвечал, а «кружок»

своего покровительства все-таки не лишал. Науку, которая могла прибавить знаний, полезных для управления «туземцами», одобрял и к таким занятиям «кружка», как занятия, скажем, мусульманским периодом истории Средней Азии, относился благосклонно. Чтобы покрепче надеть узду на трудящиеся массы народов узбекского, туркменского, таджикского и всех других, — а все это были народы мусульманские, — не мешало в какой-то мере знать их язык, религию, обычаи. Кроме того, такие знания позволяли меньше зависеть от посредничества местных баев, купечества и духовенства. Но вот древней историей заниматься?.. К чему? Отставить! ✓

Толстов прикуривает одну папиросу от другой, нетерпеливо разминая туго набитую курку.

— И в этом-то, значит, моя удача — в том, что пришлось начинать на пустом месте?!

Некоторое время курит молча, сосредоточенно уставившись на конец папиросы.

— Ведь вы представьте себе: даже самое крупное светило дореволюционной русской науки в области изучения истории Средней Азии — Бартольд, ученый, отличавшийся и колоссальным диапазоном знаний, и замечательной широтой своих научных запросов (вообще характерная черта русских ученых), человек, которому наука обязана хотя бы тем, что он первым поставил вопросы средневековой истории Средней Азии, — в то же время к ее древней истории относился так, что считал возможным брать ее всю за одни скобки... И по какому принципу? Иначе не называл ее, как «доарабская история» — вот по какому! А древней истории отдельных среднеазиатских народов и вовсе для него не существовало. Например, историю туркмен начинал только с X века нашей эры, хотя их предки-массагеты во главе с Томирис были известны историкам еще за полторы тысячи лет до этого, — когда отстаивали свою независимость от Кира. Но все это сбрасывалось со счетов. Я нарочно говорю о Бартольде, потому что это был самый честный, самый крупный и больше всех других заслуживавший своего звания ученый, занимавшийся перед революцией историей Средней Азии. Но, как видите, и его позиция была типично-буржуазной: для колониальных народов у него была одна мерка, для европейских — другая. Конечно, туркмены, а равно и узбеки, и каракалпаки, и киргизы, и

многие другие народы полностью сложились, как народы, сравнительно поздно; в образовании их, как народов, участвовало много племен; язык их сейчас — не такой, а порою даже не тот, на котором изъяснялись их предки. Но разве посмел бы Бартольд начать историю английского, допустим, народа только с момента высадки на берега Альбиона англо-саксов? Или посмел бы объявить французов не коренным населением Франции, а пришельцами из Италии — на том основании, что оттуда родом их язык; или из Германии — так как племя «франки», название которых они перенесли на себя, — германское племя? Бартольд был еще жив, когда я начинал свою научную деятельность. Он был академиком, за его плечами были сотни и сотни научных работ, горы и горы знаний, а я кем был? Мальчишкой! Но когда мне, еще в 1927 году попалась в предисловии к только что вышедшему тогда бартольдовскому труду «История культурной жизни Туркестана» строки, что, мол, изложение культурной жизни Туркестана автор вынужден закончить на моменте революции, ибо говорить о культурных потребностях Туркестана в последующие годы надо уже в связи с советским строительством, а он, видите ли, недостаточно посвящен в их цели, — то уже и тогда и мне, и другим моим товарищам по комсомолу стало ясно, что подавляющее большинство вопросов в интересующих нас областях нам придется разрешать не только не опираясь на поддержку ученых, разрабатывавших эти вопросы прежде, но чаще всего в борьбе с ними. Правда, это страха не вызывало; пусть у нас не было и сотой доли бартольдовских знаний в ту пору, но зато, что мы точно знали — так это цели советского строительства. Еще с детского дома, в отличие от Бартольда!

— Вы воспитанник детского дома?

— Так точно. И я, и трое моих братьев. Один — художник, другой — математик, кандидат наук, преподает сейчас в Артиллерийской академии, самый младший — погиб в Отечественную войну. Всех четверых нас Советская власть вскормила, вспоила, поставила на ноги, дала образование. И какое!.. Скажите: где еще могло такое быть? — приютский мальчик, как надо было бы выразиться обо мне в любой другой стране, увлекался Майн-Ридом, Жюль-Верном, Купером, жизнью разных народов, про которых читал, и решил стать этнографом. Что

из этого получилось бы опять-таки в любой другой стране? Ясно — что. А вот вам мой путь. — Хочешь быть этнографом? Пожалуйста! Через пять лет пребывания в детдоме, шестнадцатилетним юношей, я заканчиваю среднюю школу... Не один я, конечно. Когда в 1923 году я поступил в Московский университет, то Отдел народного образования Москвы, в ведении которого находились и детдома, организовал для бывших детдомовцев, ставших студентами, целое общежитие! Кстати, оно помещалось в районе Хитрова рынка — того самого, обитатели ночлежек которого увековечены Горьким в «На дне»...

Иногда задумаешься над своей жизнью, над тем, как она шла... Видишь: все закономерно! Меня, например, не раз обвиняли, особенно раньше, что я чересчур декларативен в своих работах. А как могло быть иначе? Ну, что я мог противопоставить какой-нибудь буржуазной исторической концепции в начале своего научного пути, когда фактов для ее опровержения еще не имел, а молчать, тем не менее, был не в состоянии? Не мог молчать! Помните «Мое поколение» Горбатова? Хорошая книжка. Она как раз про мое поколение. Есть там такой паренек — Алеша. Слушает он урок древней истории в школе, и все ему что-то не так. А как надо — сказать еще не может. И тогда подымается с парты и говорит учительнице: «Вы все про царей да про царей, — а революции-то у греков были, или нет?..» До сих пор помню... И, наверно, многие мои товарищи и сверстники по науке тоже постоянно что-нибудь в этом роде вспоминают. Конечно, сейчас легче работать — когда я могу подтвердить свои положения доказательствами не только собственными, но еще десятков, а может быть и сотен других советских исследователей-археологов. Пожалуйста, — Бернштам копает в Казахстане и Киргизии, копает совершенно самостоятельно от меня, а доказательства — в общий котел! Что его находки подтверждают? Да то же наличие рабовладельческой формации, предшествовавшей феодальной, и у народов, обитавших в местах его раскопок! А когда Бернштам начинал свою научную деятельность? В те самые годы, когда и мне приходилось начинать, — ровесники. А исключительное открытие в пещере Тешик-Таш Окладниковым — в ту пору даже не кандидатом наук — полного скелета мальчика-неандертальца? Первая находка неандертальца в

Средней Азии! А работы Яхьи Гулямова — первого археолога-узбека, получившего ученую степень и первым же нашедшего и исследовавшего памятники древней истории Хорезма, — я ему чрезвычайно многим обязан. А ценнейшие капитальные труды академика Струве, работы Воеводского, Грязнова, Тереножкина, раскопки Якубовского, Массона, понимание и поддержка со стороны товарищей, исследующих проблемы хотя и не Средней Азии, но тоже древней истории, — Рыбакова, Арциховского... Да целый полк вырос марксистов-исследователей древней истории. И каких исследователей! А начинать приходилось, конечно, с деклараций преимущественно. Ведь это происходило, когда ты пыталась задавать еще «школа» Покровского — до замечаний товарищей Сталина, Жданова, Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР. Наизусть могу вам их процитировать — замечания от 8 августа 1934 года: «В конспекте свалены в одну кучу феодализм и дофеодальный период, когда крестьяне не были еще закрепощены... Группа Ванага... составила конспект курса *русской* истории, а не *истории* СССР... Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история Восточной России не отрывалась от истории других народов СССР — это — во-первых, — и где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеевропейской и, вообще, мировой истории, — это — во-вторых».

— Сергей Павлович, а почему вы заинтересовались древним Хорезмом?

— Хорезмом? Да так получилось, что одно цеплялось за другое... Я, еще в студенческие годы, занимался этнографией народов Поволжья — татарами, марийцами, чувашами. И вот, изучая их материальную культуру, увидел, что она тесно связана со Средней Азией — как будто бы именно туда вели следы многих орнаментов, мотивов различных вышивок. При первой возможности я и отправился туда — в Хорезм и Туркмению, места, наиболее близкие к Поволжью. Увидел, что иду по правильному следу, — связи оказались еще более глубокими, чем предполагал. Но когда дело коснулось общих вопросов культуры древней Средней Азии, с чем столкнулся, конечно, немедленно, то тут очутился перед сплошным белым пятном. Что ни строишь — все на песке, вопросы социально-экономической истории не разработаны никак! Ну, пришлось заняться этим. А затем уж «заболел» Хорезмом,

как видите, еще основательнее. Если не считать перерыва во время войны, то с тех пор я каждый год тут.

— Вы во время войны оставались в Москве?

На орденской планке Толстова, которая прикреплена к его комбинезону, вслед за синей ленточкой ордена Трудового Красного Знамени идут ленточки медалей «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

— Как вам сказать... Не совсем в самой Москве. После речи товарища Сталина 3 июля я вечером того же дня ушел в народное ополчение. А так как с военным делом я знаком, отлично же ориентироваться на местности и на-зубок разбираться в топографии — долг каждого археолога и этнографа, то через две недели я уже воевал командиром отделения разведки батареи 76-миллиметровых пушек, через месяц — взвода разведки, а в октябрьских боях фактически командовал разведкой полка. Тогда же подал заявление в партию... Народ у меня во взводе подобрался грамотный — преимущественно студенты математического факультета... Но не довоевал! В октябре 1941 года меня ранило в ногу, — четыре месяца после того пришлось находиться на излечении в Красноярском госпитале, а потом демобилизовали. Знаю, на заседаниях в Академии в то время мою память дважды отмечали вставанием. А я валялся... Правда, досуг был полный... Но сильно болела нога, не давала возможности двигаться. Я тогда языкам уделил внимание: увлечешься книгой — и как-то легче. В городской библиотеке мне раздобыли литературу, — всякую всячину: Дюма по-французски, Честертон по-английски, какого-то скучнейшего Шумахера — «Жизнь и любовь леди Гамильтон» по-немецки. Ну, а когда выписали из госпиталя и обратно в армию не пустили, решил: что ж время зря терять? — защитил докторскую диссертацию...





10. „ТАК РЕВОЛЮЦИИ У ГРЕКОВ ВСЕ-ТАКИ БЫЛИ ИЛИ НЕТ?“

Есть в «Древнем Хорезме» глава, носящая название «Тирания Абрая. Экскурс» и вводящая читателя в гущу социальных отношений соседней с Хорезмом Бухары незадолго до арабского завоевания. Отправная точка этой главы — легенда о создании Бухары.

Зачем понадобилась Толстову в работе о Хорезме история Бухары?

Дело заключалось в следующем. Когда он принимался за эту главу, он располагал только литературными источниками — никакими другими, а они не говорили о Хорезме ничего, во всяком случае — ничего определенного. Волей-неволей, приходилось прибегать к обходному пути: восстановить картину социальных отношений в древней Бухаре (кстати, тоже до той поры неизвестную), чтобы затем воспользоваться ею, как аналогией картины социальных отношений в Хорезме. Пусть не во всем, но в основном должны же были быть схожи расстановка классовых сил в обоих государствах и их природа? Ведь оба государства возникали и развивались в одно и то же время и на одной и той же исторической почве.

Толстов был уверен, что легенда, на которую он набрел, сможет дать немало: чем больше он в нее вчитывался, тем меньше она казалась ему только легендой.

В свое время, в X веке нашей эры, знаменитый среднеазиатский ученый Мухаммед Нершахи написал труд «История Бухары». Труд этот полностью до нас не дошел, сохранился лишь сокращенный персидский перевод его, — им-то и располагал Толстов. Одна из глав в этом переводе заканчивалась отрывком из другого историка —

Нишабури, который в своей книге «Сокровищница знаний» (также не дошедшей до нас полностью) рассказал древнейшую историю города Бухары, слышанную им от людей. В общем, это было как в детском игрушечном яйце: яйцо, а в нем еще яйцо, а в этом — снова яйцо, но есть ли в самом последнем леденец — кто знает заранее!

На первый взгляд, рассказ Нишабури был не более, чем легенда, «повествующая об отдаленных временах первого заселения бухарского оазиса», т. е. о временах, отстоявших даже от Нершахи и Нишабури не на сотни, а по крайней мере на тысячу лет. Вначале, как передает рассказ Толстов, шло описание, «как на месте болотистой низины, постепенно заносившейся отложениями несомой горными потоками почвы, образовался плодородный оазис, куда начали собираться со всех сторон люди и где впоследствии возникла Бухара», а затем повествовалось следующее¹:

«Люди, приходившие сюда из Туркестана, селились здесь, потому что в этой области было много воды и деревьев, были прекрасные места для охоты, все это очень нравилось этим людям. Сначала они жили в юртах и палатках, но потом стало собираться все больше и больше людей и стали возводить постройки. Собралось очень много народа, и они выбрали одного из своей среды и сделали его эмиром. Имя его было Абруй. Самого города еще не было, но уже было несколько деревень... Большое селение, где жил сам царь, называлось Пейкенд... По прошествии некоторого времени власть Абруя возросла, он стал жестоко править этой областью, так что терпение жителей истощилось. Дикканы и богатые купцы ушли из этой области в сторону Туркестана и Тараза, где выстроили город и называли его Хамукат, потому что великий диккан, бывший главою переселившихся, назвался Хамук, что на языке бухарцев обозначает «жемчуг», а «кат» значит «город»... Вообще бухарцы «хамуками» называют вельмож.

Оставшиеся в Бухаре послали к своим вельможам послов и просили защитить их от насилий Абруя. Вельможи и дикканы обратились за помощью к царю турок по имени Кара-Джурин-Турк, которого за его величие народ прозвал Биягу. Биягу тотчас послал своего сына

¹ «Древний Хорезм», стр. 248—249.

Шири-Кишвара с большим войском. Тот прибыл в Бухару, в Пейкенде схватил Абруя и приказал, чтобы большой мешок наполнили красными пчелами и опустили туда Абруя, от чего он и умер.

Шири-Кишвару очень понравилась завоеванная им страна, и он послал своему отцу письмо, в котором просил назначить его правителем этой области и разрешить ему поселиться в Бухаре. Вскоре он получил ответ, что Биягу отдает ему область.

Шири-Кишвар отправил посла в Хамукат, чтобы он уговорил вернуться на родину всех бежавших из Бухары с их женами и детьми. Он написал грамоту, в которой обещал, что все возвратившиеся по его приглашению в Бухару станут его ближними людьми. Это обещание было вызвано тем, что все богатые купцы и знатные диканы выселились, а нищие и бедняки оставались в Бухаре.

После этого бежавшие в Хамукат возвратились на родину в Бухару, а оставшиеся в Бухаре бедные люди стали слугами возвратившихся из Хамуката. Среди последних был один великий дикан, которого называли Бухар-худат, потому что он происходил из древнего диканского рода (бухар-худат — царский титул в Бухаре, равнозначный хорезмшаху в Хорезме. — Р. Б.). Земельные участки большей частью принадлежали ему, и большинство этих людей были кедиверами и слугами его».

Дальше текст повествует о том, что Шири-Кишвар основал город Бухару и ряд селений, «... что он царствовал 20 лет и его сменил другой царь, также основавший ряд селений...»

Мнение об этом отрывке, как о легенде, не отражающей непосредственно конкретных исторических событий, было преобладающим в историографии. И даже те немногие ученые, которые все же были склонны датировать изложенные в отрывке события, не делали отсюда никаких выводов: не пытались проникнуть дальше, в суть их.

Толстову сразу бросилось в глаза: отрывок перечислял ряд собственных имен: Кара-Джурин-Турк, Шири-Кишвар, Абруй. А кто попробовал отыскать эти имена еще в каких-нибудь источниках? Ведь тогда, по меньшей мере, появилась бы при удаче возможность сличения разных материалов, и вряд ли оказалось бы так, что одни ни в какой степени не помогли бы лучше разобраться и

в других. Толстов находил, что легенда, столь отчетливо делящая общество на богатеев-купцов и нищих, на знатных диканов и бедноту (пусть она даже только легенда!), стоит того, чтобы не пожалеть на нее времени!

Снова и снова он наталкивался на равнодушие буржуазной историографии ко всему, что могло пролить хоть какой-нибудь свет на борьбу угнетенных масс против своих угнетателей.

Поиски пришлось направить прежде всего в китайские хроники — летописи Суйской и Танской династий. Цари этих династий имели связи с тюркским каганатом — государственным образованием кочевых тюркских племен, и с их вождями — каганами этого союза, а ведь отрывок прямо говорил о вмешательстве «царя турок».

Но возникла большая трудность: дело в том, что китайцы писали свои хроники иероглифами, а не фонетическими письменами, в результате чего личные имена оказывались переложенными на китайский так, что чаще всего, если не знать заранее, о ком идет речь, оставалось только догадываться на этот счет.

Например, «Кара» («черный» по-тюркски) из имени Кара-Джурин-Турк могло быть переведено иероглифом, обозначающим «черный» (читается «хей»), но с таким же успехом — иероглифом, не имеющим к «хей» никакого отношения, зато таким, звучание которого приближается к «кара». Могли также разбить «кара» на два слога и «ка» и «ра» переводить по отдельности, причем предугадать, как же все-таки было переведено «кара» на самом деле, не представлялось никакой возможности.

Оставалось только одно: упорно заняться изучением китайского, — хроники, где упоминались все эти имена, надо было прочесть в подлиннике. Впрочем, и это, конечно, не давало полной гарантии успеха...

Затем, в ходе исследования, выяснилось, что кроме китайских хроник, надо еще привлечь источники на языках арабском, персидском, тюркском, английском, немецком, французском (не считая, конечно, русского), орхонское письмо и еще многое, многое другое. С этим, однако, было проще — эти языки Толстов знал и ранее.

И в результате Кара-Джурин-Турк раскрыл свое лицо! Он раскрыл свое лицо, как Ше-ху Чу-ло-хеу китайских хроник, Абруй — как Або-каган в них же, а Шири-Кишвар оказался известен арабским историкам как Ертегин.

Что это давало? — Очень многое! Во-первых, точную дату события, о котором рассказывала «легенда», сообщаемая Нершахи — Нишабури: Ше-ху Чу-ло-хеу (он же Кара-Джурин-Турк) правил в качестве общетюркского кагана в 587—588 гг. Получив в руки благодаря точной дате значительно возросшее число исторических сведений, стало легче составить общую картину тирании Аbruя — выяснить подробнее, кто это был такой, под какими лозунгами он выступал, что за ними крылось.

Правда, исторические сведения о VI веке, на которые Толстов получил теперь возможность опереться хотя бы как на подсобные, также были не слишком обильны и, что еще хуже, чрезвычайно неопределенны. Ну, скажем, Аbruй, как будто бы, принял на себя титул, который за сто лет до того носили правители эфталитов, или «белых гуннов», как называли их другие народы, — полукочевых массагетских племен, постепенно скрещивавшихся с гуннами и сохранявших военно-демократические традиции. Вместе с тем, эфталитских царей в то время, когда еще не распалась созданная ими (и недолго просуществовавшая) империя, настойчиво обвиняли в разврате — в том, что они не признают патриархального брака, позволяют себе бесчестить чужих жен и не считают это за грех.

Имело ли принятие на себя Аbruем титула эфталитских царей связь и с этими их поступками? А если имело, то что оно означало? И действительно ли эфталитские правители развратничали? Или под их «развратом» крылось что-то иное? Что, в таком случае?

Исследование, которое вел Толстов, было под стать учебе костоправов в старину: им давали разбитый в мешке глиняный горшок, а они должны были составить его снова, причем — через ткань мешка.

Толстов «составил горшок» — картина социальных отношений в Бухаре все-таки вырисовалась в полный рост. И оказалась такою.

Бухара была типичным для своего времени городом Средней Азии, т. е. центром ремесленного производства, нужду в продуктах которого, прежде всего — в металлическом оружии, предметах роскоши и т. д., кочевники, обитавшие за пределами городов, могли удовлетворить только здесь. И приезжали ли они сюда мирно, через открытые ворота крепостных стен, для продажи скота и покупки товаров, или ломились грабителями в замкнутые

ворота, — все равно, с городами они имели дело постоянно.

Город был также центром торговым — он выставлял на рынок изделия ремесленников, земледельческую продукцию, которой не было у кочевников, привозные товары.

Город был укрепленной цитаделью — как раз в силу того, что его степные соседи не были склонны пренебрегать такой эффективной, на их взгляд, формой связи с городом, как вооруженные набеги.

Наконец, город был центром политическим — прилежавшей к нему земледельческой области, ограниченной пределами оазиса и нередко также огражденной от пустыни кольцом стен, и центром религиозным — местонахождением храма и местопребыванием царя, которого повсеместно титуловали богом (а в его личности настолько олицетворяли общее благосостояние города, что кое-где ему не разрешали даже обстригать волосы: верили, что и государство чего-нибудь при этом лишится).

Несмотря, впрочем, на обоготворение царя, последнее не мешало совету, состоявшему из глав аристократических фамилий города, сильно ограничивать его власть. Корни этого совета явственно уходили из рабовладельческого города-государства в старину — в еще не знавшее классовых различий, а следовательно и государственности, племя, к совету стариков племени...

В этом независимом городе-государстве, «в кольце городских стен, вокруг... укрепленного дворца городского царя и базара, на обширном, пересеченном оросительными каналами пространстве были раскинуты укрепленные усадьбы больших семей патрициата города (дихканов и купцов). Вокруг них, в свою очередь, группируются жилища рабов и клиентов... Важнейшим составным элементом городского комплекса являются буддийские, зороастрийские или манихейские храмы и монастыри»¹.

А каковы были взаимоотношения за стенами укрепленных усадеб, каковы были отношения дихкана, с одной стороны, и рабов и клиентов, с другой?

Дихкан «сочетал в себе рабовладельца и родоплеменного вождя». Глава большой патриархальной семьи — кедхуда (кед — дом), он пользовался в ней деспотической

¹ «Древний Хорезм», стр. 270.

властью. Кед включал в себя, помимо жен и наложниц с их потомством, также и всех других домочадцев, в том числе рабов и клиентов — кедиверов. Это был социальный коллектив, весьма близкий ранней римской «фамелии», а она, как отмечает Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», на первых порах обозначала даже не семью, а «совокупность принадлежащих одному человеку рабов» (от «фамулюс» — домашний раб), и лишь затем в обиход римлян вошло слово фамилия «для обозначения нового общественного организма, глава которого был господином жены и детей и некоторого числа рабов в силу римской отцовской власти, располагая по отношению к ним правом жизни и смерти».

Кед представлял собой чрезвычайно похожий на это социальный организм — «социальный коллектив, заселяющий единый комплекс построек, семейную домовую общину». В понятие кеда, «кроме собственного жилища главы дома, входили жилища его женатых сыновей и других родственников, хозяйственные постройки и т. п., причем все эти постройки находились внутри общей стены... «Кедиверами» бухар-худата и других аристократов Бухары, как следует из контекста анализируемого нами рассказа Нишабури, стала большая часть бедняков оазиса после подавления движения Аbruя. Следовательно, перед нами особая категория людей, включаемых в состав «кеда», но не являющихся родственниками «кедхуда» — главы обитающей в ней патриархальной фамилии и зависимых от него. Наиболее точным поэтому является перевод термина «кедивер» словом «клиент»¹.

Власть аристократии опиралась «на отряды вооруженных рабов... и привилегированное конное ополчение аристократической молодежи». Куда ни обратиться взору в этом городе-государстве — всюду видим рабов или превращающихся в рабов свободных общинников.

Правда, рабы обитают вместе с семейством своих диканов, и это, как и многое другое, как наличие хотя бы того же городского совета глав аристократических фамилий, свидетельствует о силе пережитков родоплеменного строя, но сути дела это не меняет: рабы остаются рабами, ибо все, что изготовляют их руки, принадлежит их вла-

¹ «Древний Хорезм», стр. 272.

дельцам. В этих среднеазиатских городах нет, например, до арабского завоевания никаких следов отдельных кварталов ремесленников. И это говорит все о том же: о широком применении рабского труда, о том, что ремесленник был рабом и своего отдельного дома не имел, — сколько было усадеб диканов, столько было в общем и ремесленных мастерских.

Это было рабовладельческое государство, на котором, однако, еще очень сильно держались обручи родоплеменного уклада, и они в большой мере сковывали какие бы то ни было проявления классовой борьбы. К слову сказать, о возврате к временам государства именно такого типа, еще кастово-рабовладельческого, на социальной поверхности которого как будто тишь да гладь, откровенно и страстно мечтал в развитой рабовладельческой Греции Платон — самый убежденный идеалист из философов древности и самый заядлый реакционер из аристократов.

Одновременно со все большим выделением аристократии в городах Средней Азии аналогичный процесс обогащения одних родов и постепенного закабаления нищающих общинников из других родов шел и среди кочевых племен. Нищающие общинники, несмотря на их принадлежность к тому же племени, что родовая знать, начинают занимать в каганате социальную ступеньку не многим высшую, чем рабы. Естественно, они не желают мириться с этим, они противятся такому ходу истории, при котором на их долю остается только кабала, а завтра и формальное рабство, но какую положительную программу, кроме мечтаний о возврате к той военной демократии кочевого племени, которая существовала прежде, они могут выставить? Они самозабвенно наколачивают старые тесные обручи на бочку, которая уже сильно раздалась. Но никакими обручами не остановить брожения, идущего внутри нее...

Тирания Аbruя — как раз одна из таких попыток. Аbruй — тюрок, он кочевник, тем не менее он предводительствовал восстанием в Бухаре — в городе. Факт очень важный! Он свидетельствует о том, что социальные процессы развивались в одном и том же направлении и в городах Средней Азии, и в кочевых племенах ее. Нищающие кочевники бегут из каганата, где их не ждет ничего кроме кабалы и рабства, со своими юртами и палатками,

о которых говорит рассказ Нишабури, в города, но и здесь они сталкиваются с тем же, от чего бежали, — с усиливающимся классовым разделением. Вот в чем причина того, что «правление Абрауя в нижней Согдиане явилось... диктатурой или, если употребить термин, наиболее отвечающий содержанию... событий, «тиранией» (в античном смысле этого слова) союза разоренных свободных воинов-тюрьков, беглецов из каганата, и низших слоев населения оазиса, разоряющихся и закабаляемых мелких производителей города и рустак (земледельческая округа города. — Р. Б.).

Своим острием она была направлена, с одной стороны, против господствующей аристократии каганата, с другой — против союзников этой знати: дикханов и богатых купцов...

Заключительный акт этой социальной трагедии нам уже известен. Чуло-хеу, не сумевший, повидимому, разбить своего противника при помощи дружин тюркской аристократии, прибегает к помощи Китая, дающего ему вспомогательное войско. Эта интервенция Суйской империи на далеком Западе решает дело, одновременно усиливая активность враждебных Або элементов в самой Согдиане (очевидно, не эмигрировавшей части согдийской знати и купечества). Або-Абруй попадает в плен и погибает, а поддерживавшие его бедняки становятся «слугами возвратившихся из Хамуката»¹.

И в свете всего этого становится понятным и то, почему Абруй принял на себя титул эфталитских царей, империя которых распалась задолго до тирании Абрауя, и многое в том же духе.

Империя эфталитов возникла в результате военной победы над другим союзом кочевых племен — каганатом жуань-жуаней. Эфталиты оказались сильнее в военном отношении потому, что в их племенном союзе военная демократия была менее расшатана классовым расслоением, нежели, в каганате жуань-жуаней. (Правда, и эфталитское государство оказалось столь же не стойко. Те же самые причины быстро ослабили и его мощь и привели к разгрому и его — каганатом тюрков...)

Угнетенные массы города и беглых кочевников, восставшие под предводительством Абрауя и изгнавшие прочь

¹ «Древний Хорезм», стр. 278.

из Бухары знать, мечтали о родоплеменном строе — вот почему Абруй принял титул эфталитских царей. Лозунг эфталитов, за который их классовые враги всегда обвиняли их и их последователей в разврате, — о восстановлении древних форм группового брака — был также знаменем классовой борьбы. Дело в том, что создание аристократами гаремов, которые отрывали от общины громадное число женщин, было «одной из существенных форм закабаления свободных общинников и превращения их в полурабов феодализирующейся знати, в «дворовых» формирующегося поместья. От апроприации (захвата, присвоения. — Р. Б.) женщин общины помещиками община жестоко страдала. Помимо того, что в этих условиях значительная часть общинников, в первую очередь беднота, была осуждена на безбрачие, а соответственно на невозможность создать свое хозяйство, община в целом испытывала острую нужду в женской рабочей силе. Этим объясняется тот факт, что в числе «преступлений», вменяемых апологетами аристократии антифеодальным движениям и сектам, непременно фигурирует обвинение в «свальном грехе», «развратном поведении», «захвате женщин»¹.

Как стара погудка эксплуататоров обвинять своих классовых противников первым делом в разврате! Знакомая картина!

Шаг за шагом Толстов расшифровал все события тирании Абура. В итоге исследования стало ясно, и почему так мало сведений сохранила о нем история. Победители Абура, бросившие его в мешок, наполненный красными пчелами, предпочитали вообще не вспоминать его имя, а угнетенный народ, поддерживавший его, имел только одну возможность сохранить память об этом восстании — в устном предании. Это он и сделал, и сделал свято: недаром даже спустя четыре века до Нишабури и Нершахи дошел рассказ об изгнании Абураем знати из Бухары. Никогда народ не забывал борцов со своими угнетателями, никогда не расставался с мечтой о конечной победе над ними и о своем торжестве!

Экскурс в историю, совершенный Толстовым, был проделан на основании одних литературных источников. Но и они в его освещении показали, как потрясающе богат

¹ «По следам древнехорезмийской цивилизации», стр. 224.

событиями и сложен был процесс классовой борьбы внутри среднеазиатских государств дофеодалного периода. Нет, совсем не вечно существовал там феодализм, в жесточайшей классовой борьбе установили феодалы свое господство, не раз и не два прибегали к помощи варваров-чужеземцев для этого, — все средства для них были хороши в классовой борьбе.

Стало ясно, например, что известное со слов ал-Бируни варварское истребление всей научной литературы хорезмийцев, учиненное арабским полководцем-интервентом Кутейбой в 712 г., и изгнание им за пределы Хорезма всех ученых — носителей древней местной культурной традиции было также не чем иным, как ответом феодализирующейся знати на восстание, подобное абруевскому. Глава Хорезмского восстания носил имя не Абура, а Хуррзада, на помощь знати пришел не тюркский каган Кара-Джури-Турк, а араб Кутейба, но ненависть знати к восставшим была такой же. Так же ненавистен им был народ, а вместе с ним и его традиции, но зато самым дорогим человеком был Кутейба, к которому они обращались, как к спасителю, так же обвиняли они Хуррзада в «разврате», одновременно отстаивая свое «право» на гаремы и обладание наложницами... История повторялась. Бухара давала убедительнейшие параллели к истории Хорезма...

В 1937 году, год спустя после того, как была закончена глава «Тирания Абура», в Хорезм выехала специальная археологическая экспедиция. В состав ее входило двое научных работников — один из них сам Толстов, а другой — А. И. Тереножкин, и двенадцать рабочих.

Если сравнить это с сорока научными сотрудниками и шестьюдесятью рабочими экспедиции 1948 года, а двенадцать тысяч рублей, отпущенные в 1937 году, с многотысячной сметой нынешнего лета, то та, первая, экспедиция, покажется, конечно, очень скромной. Но на самом деле она была громадной победой Толстова: и как ученого, и как организатора, сумевшего добиться своего.





11. ЭКСПЕДИЦИЯ 1948 года ЗАКОНЧЕНА

Археологу не ступить и шагу на Топрак-кале без поливинила. Поливинил — это бесцветный, жидкий, как вода, лак, которым покрывают фрески, чтобы не потускнела и не осыпалась краска, обильно смачивают откапываемые скульптуры, чтобы они не рассыпались под руками, напityвают бинты при упаковке монолитов: поливинил предохраняет предметы от проникновения влажного воздуха, и тем самым — и от разрушения.

Но ни под каким видом нельзя допустить, чтобы в поливинил попала хоть капля влаги — его разводят на чистом спирту, и если кто-нибудь попытается разбавить его водой, это обнаружится сразу: клей свернется белыми хлопьями.

Ведерные бутылки спирта стоят в палатке Толстова: несколько пустых и одна, почти еще доверху полная, последняя.

В лагере волнение. Обнаружилось, что какой-то отщепенец разбавил спирт водой. Разбавил, правда, еле-еле, — полностью поливинил, к счастью, своих свойств не утратил, — но ведь главное сам факт! Кто это? Кто? И ведь свой! — кто еще мог входить в палатку Толстова?

Ничто не в силах было развеять мрачное настроение лагеря, даже забавнейший случай (раз в год, впрочем, непременно происходящий на раскопках с каким-нибудь новичком).

Не веря самому себе от радости, один из студентов-практикантов вдруг увидел, что в его раскопе начал «выходить» документ. На бумаге! Причем лист длиною, наверно, в полметра!

Но каково было разочарование практиканта, когда оказалось, что этот (так изумительно сохранившийся!) «свиток из канцелярии хорезмшаха» — не более, не менее, как... номер «Комсомольской правды» от третьего сентября 1946 года! Дело в том, что археологи, оставляя шурф, всегда кладут на дно номер свежей газеты, а за два года в Кызыл-кумах над дном оставленного шурфа, естественно, вновь вырос метровый слой песка.

Юный практикант столкнулся со всем этим впервые, и над ним весело, дружески смеются за «круглым столом». «Круглый стол» — примечательная подробность толстовского лагеря. В земле, близ кухни, строго по циркулю, вырыт ровчик, куда можно опустить ноги, а все блюда ставятся в середину: дежурный раскладывает там брезент — «стол» накрыт.

Полный демократизм: никаких мест лучших, никаких худших, всё до всех одинаково близко, всем всех одинаково видно. «Круглый стол» — своеобразный клуб лагеря. После напряженного рабочего дня хорошо посмеяться над чем-нибудь, собравшись всем вместе, пошутить, побалагурить. Горит крохотная электрическая лампочка на шесте, воткнутом в середину «круглого стола», — к «столу» вплотную пригоняют грузовик, лампочка питается от его аккумуляторов.

Толстову попрежнему не давала покоя мысль о поливиниле. Кто этот жалкий и подленький пьяница?

И вдруг — словно молния прорезала черные тучи его сомнений.

— Товарищи! Товарищи, внимание! Сказать вам, почему в поливиниле оказалась вода? — За «круглым столом» сразу воцаряется тишина. — Ночи стали холоднее, а тот, кто брал поливинил из бутылки последним, не заткнул ее пробкой: мы нашли бутылку открытой! Вот и все. В бутылку за ночь проникла влага из воздуха и осела на стенках. Осень, друзья!

Да, осень — сентябрь на исходе. Сезону раскопок подошел конец.

Первыми снимаются кинооператор Беркович со своим помощником Саловым. Через неделю опустеет и весь лагерь: как только полностью закончится упаковка находок этого года.

Отправляюсь к Берковичу посмотреть, что у него проявлено из снятого. Если не удалось облетать самому

все места работы экспедиции, — посмотрю их хотя бы на пленках и фотографиях. Много фотографий сделано и Толстовым.

«Киногруппа» живет обособленно: в уже обследованной, но не порадовавшей никакими находками пустой прохладной нише крепостной стены, под превосходно сохранившимся, мастерски сложенным стрельчатым сводом из кирпича-сырца. Беркович и Салов — четвертые по счету квартиранты этой ниши. Первым она служила в качестве обиталища семнадцать столетий назад, вторым — одиннадцать, наконец, третьим — всего лет за шестьсот до наших дней. Археологи не жалуют места,



Рис. 11. Превосходно сохранились мастерски сложенные стрельчатые своды... Но внимание археологов привлечено сейчас не к ним...

которые служат людям жильем столь часто: в них, как правило, не сохраняется ничего ценного. Но по этому вопросу кинематографисты разошлись во взглядах с раскопщиками. Ну, и пусть ничего не сохранилось, — зато самое прохладное место во всей Топрак-кале! А это надо ценить!

Буржуазные историографы Востока больше всего внимания уделяют истории религии, искусства, архитектуры, — мы уже упоминали об этом, — тем разделам истории, в которых им легче вуалировать вопросы классовой борьбы. Но советские историки вторглись и в эти области и начали разоблачать своекорыстную классовую тенденциозность буржуазной науки и здесь.

Буржуазные историки религии на основании того, что Авеста — религиозный памятник иранского происхожде-

ния, сделали вывод о том, что всей своей духовной культурой все народы Средней Азии обязаны лишь Ирану. А Толстов, произведя обстоятельный разбор наиболее древних частей Авесты, показал и доказал, что социальные отношения, рисуемые там, сложились раньше всего как раз не в Иране, а в других местах Азии — в Хорезмийском оазисе, что древнейшие главы Авесты и географически прикреплены к Хорезму, т. е. создавались здесь, а не в Иране. Кто же у кого заимствовал? Кто кому обязан своей духовной культурой?

Еще большее внимание уделил Толстов истории архитектуры. Проследив основные изменения архитектуры в Хорезмийском оазисе, начиная со времен первобытного человека и кончая XIII—XIV веками нашей эры, он вскрыл, какие социальные причины обуславливали эти изменения. Сквозь архитектуру проступила социальная история. И с замечательной наглядностью стало видно, что общие закономерности развития человеческого общества в равной мере обнимают собой и Восток, что социальная история Востока, проявляющаяся хотя бы в архитектуре, подчиняется тем же общим законам развития общества, что и всюду, а что буржуазные историки, которые в целях оправдания колониальной практики империалистов доказывают, что Востоку вообще свойственен застой, что его отставание от Запада может быть преодолено только насильственно, — лгут, лгут сознательно и своекорыстно.

Фотографий тьма. То, в чем тексты книг могли убедить лишь логически, здесь предстает перед глазами наглядно.

Вот фотоснимки находок возле жилища первого, обнаруженного Толстовым в этих местах, человека: стоянка времен так называемой кельтеминарской культуры. Бесконечное количество рыбных костей, каменные и костяные орудия, кости кабаньи, оленьи, водоплавающей птицы. Ясно: племя рыболовов и охотников, которые еще не знают земледелия. Жилище этих людей не сохранилось, но по находкам на месте их стоянки — золе, углублениям от столбов, костям и т. д. оказалось возможным реконструировать его. Это было огромное, в 400 примерно квадратных метров, овальное сооружение из дерева и камыша, повторявшее форму вершины бархана, на котором стояло. На врытых в песок столбах держалась

система перекрытий из деревянных жердей, а на нее была положена камышевая кровля. Внутри строения шли еще две концентрические овальные линии столбов — к центру наиболее высоких. Крыша, таким образом, была куполообразной.

В середине «шалаша» (если только позволительно назвать шалашом такой домище) постоянно горел священный огонь: в золе его не отыскалось ни одной кости, между тем как на месте других кострищ, следы которых во множестве обнаружены на периферии «шалаша», остатков обугленных костей полно.

Обитала в этом доме целая родовая община в 100 — 125 человек. Судя по местоположению кострищ, вернее, по отсутствию определенного местоположения их в жилище, можно заключить, что группировавшиеся около них парные семьи только еще начали образовываться и как хозяйственно-бытовые единицы покамест не выделились из общины. Это — начало третьего тысячелетия до нашей эры.

Интереснейшая подробность: советский археолог Теплоухов откопал в так называемых афанасьевских погребениях Минусинского края, относящихся, примерно, к тем же временам, что кельтеминарская культура, украшения из раковин, ближайшее местонахождение которых — устье Аму-дарьи! А бусы кельтеминарцев, найденные Толстовым, — из раковин, водящихся в бассейне Индийского океана! Еще и в столь далекие от нас времена связи между людьми простирались на тысячи и тысячи километров. Даже и для тех времен невозможно и неправильно отрывать историю одного племени от истории всех остальных.

Вот снимки находок более поздних времен — тех, которые приходят на смену кельтеминарской культуре. Толстов обнаружил и эти предметы здесь же, на территории все того же Хорезмского оазиса, прослеживая, таким образом, историю древнейших предков нынешних обитателей Средней Азии действительно шаг за шагом. На смену кельтеминарской керамике, соответствующей орудиям каменного века, приходит керамика, соответствующая следующему этапу развития человечества — веку «бронзовому» и «железному»; кости, откапываемые на стоянках, в большинстве уже не рыбы и не диких кабанов, а прирученных животных, коров, овец или коз. Рыболовство и охота уступают место скотоводству, кельте-

минарский «шалаш» — глиняному длинному дому. Очаги парной семьи здесь уже неизмеримо более устойчивы.

Но история движется все дальше, и вот, в первой половине первого тысячелетия до н. э. первобытный период древней истории Хорезма кончается. Древний Хорезм вступает в античный период своего развития, начинающийся уже знакомыми нам «городищами с жилыми стенами», возведением оросительных систем, прочным оседанием скотоводов на землю, переходом от скотоводства к земледелию, — период рабовладельческого, или, как уточняет Толстов, общинно-рабовладельческого общества. Не крепостные воздвигают оросительные каналы, а тысячи и десятки тысяч рабов, — недаром, спустя много-много веков, уже в средневековье, правители, вступая на престол, нередко должны были давать клятву, что не будут рыть новых каналов. Только рабов государство могло беспрекословно заставить взяться за этот труд.

Выделяются богатые роды, возникает государственная власть и каста воинов, появляются храмы — отдельные здания, посвященные богослужениям, и каста жрецов. Быть ближе к богам становится уже особой привилегией. Перед нами уже классовое разделение общества, но облеченное в форму разделения на касты. Не «античный феодализм» Мейера, а общинно-рабовладельческое общество приходит на смену первобытному периоду древней истории Хорезма.

Вместе с тем города этой эпохи уже действительно города. Хотя ремесло еще не выделилось в самостоятельную отрасль хозяйства и им занимаются еще в родовых домах (причем занимаются рабы), города уже пышно расцветают. Этот ранний расцвет их здесь объясняется тем, что они с самого зарождения выполняли роль основного связующего звена между обеими главными отраслями местной экономики — земледелием и кочевым скотоводством. Судьбы кочевых и оседлых народов, представителей самого древнего, первого в человеческом обществе, великого разделения труда, вообще неотделимы в Средней Азии на всем протяжении их истории.

По мере роста государства можно видеть, как все более мощными становятся его оборонительные сооружения. Они еще весьма архаичны по принципам — у крепостных стен, например, нет еще башен и из-за этого нельзя обстреливать противника вдоль стен, что является

наиболее рациональным способом обороны крепости от льющегося в нее врага. Архитектура крепостей, подобных, скажем, Джанбас-кале, рассчитана на участие в обороне всего ее населения. Это — неоспоримое свидетельство неисчезнувшего еще очень крепкого духа военной демократии, столь присущего, прежде всего, предыдущему этапу развития — родоплеменному строю. Стойкость общины, объясняемая условиями труда земледельцев в странах искусственного орошения, вообще задерживает процесс освобождения классовых противоречий от форм, присущих отношениям доклассовым.

Крепости рассчитаны на участие в их обороне всего населения, включая женщин. Женщина, таким образом, еще не перестала принимать участия в непосредственной общественной жизни своего народа, ее закрепощение наступит позже.

Отдельные родовые дома-массивы, как мы это видели в Топрак-кале, не укреплены. Функцию их защиты несет внешняя оборонительная система всего города, а также «длинные стены», ограждающие и рустак — земледельческую округу, примыкающую к городу, от набегов кочевников. Все это говорит о мощи централизованного государства так же, как и то, что крепости расположены не у головных сооружений арыков, а у хвоста арыка, — там, где он соприкасается с пустыней. Государственная власть озабочена первым делом обороной страны от кочевников, а не тем, чтобы, — как будут впоследствии делать феодалы, — наложить лапу на голову арыка — и: кто выплатит оброк, тому пушу воду на поля; кто не выплатит — пусть грызет пересохшую землю! Не приходится говорить, что последняя форма принуждения, конечно, более эффективна, чем одна только плетка, занесенная над рабом в общинных домах Топрак-калы: ведь сколько раба ни секли, а оставлять его издыхать с голоду было невыгодно, — он представлял собою значительную рыночную ценность. При феодальной же системе принуждения эксплуататор избавлялся от необходимости заботиться о прокорме крепостного: угроза обречь на голод действовала надежнее плетки.

Но наступающий с воцарением феодальных отношений в обществе распад мощного централизованного государства приводил к упадку оросительной системы, а прочность среднеазиатской экономики держалась на этом!

Кому было дело до всей ирригационной сети? — лишь бы на мой участок хватило! Однако в том-то и дело, что при системе искусственного орошения, если не заботиться о всей сети, то и на каждый участок, в конце концов, воды начинает поступать все меньше и меньше. И такая страна легко становится добычей варваров, налетавших из степей, — арабов, полчищ Чингис-хана. Экономика снова толкала такую страну к объединению. И если это обеспечивал захватчик, то удерживался у власти и захватчик.

Но я забежал вперед. Вернемся к городам античного периода еще в пору их расцвета. И обратим еще раз внимание на цоколь Топрак-калы — этот мощный, двенадцатиметровой высоты искусственный утес на ровной местности со взнесенным на нем дворцом хорезмшаха. Как знаком и в какую глубокую древность (даже для Топрак-калы глубокую древность!) уводит этот архитектурный принцип. Это же бархан, на котором стоял кельтеминарский «шалаш»! Но так как, когда строили Топрак-калу, барханов в окружавшей ее цветущей местности не было, его создали искусственно. И в этом был основательный практический смысл. Топрак-калинский цоколь, эта «система перекрещивающихся глинобитных стен, пространство между которыми было заполнено кладкой из сырцового кирпича без раствора, свободно положенного в песок... обеспечивала безопасность здания от действия почвенной влаги и несомых ею солей»¹. Действительно, ведь здание, воздвигнутое буквально на песке, сумело противостоять тысячелетиям и в значительной степени сохранилось до наших дней. Нет, не завоевателям обязаны народы Средней Азии своим опытом, своей культурой, — прежде всего, самим себе. Не завоеватели передали опыт кельтеминарцев строителям цоколя Топрак-калы, — сам народ сберегал его на протяжении тысячелетий! И даже спустя семь веков после того, как Топрак-кала была возведена, арабский географ Макдиси записал жившую в народе легенду: дескать, самые дальние предки хорезмийского народа обитали в шалашах!..

Еще к одному заставляют приглядеться фотографии находок того времени: к тамгам на кирпичах, из которых сложены стены Топрак-калы (тамга — родовой знак). В одной стене или в части ее кирпичи с тамгой, представ-

¹ «По следам...», стр. 175.

ляющей, скажем, две параллельные черты, в другой стене тамгой на кирпичах являются три параллельные черты — каждый род отмечал, сколько кирпичей он выделал и какую часть стены сложил. Но различных тамг не так уж много: столько, сколько родов принимало участие в стройке. Характерно также: большинство тамг имеют общие черты в рисунке — роды были родственные.

Перед нами еще одно свидетельство, что город и населяли, и строили родовые общины, что в основе рабовладельческой городской цивилизации Хорезма был застойный общинный быт.

Архитектура городского и сельского поселения была одинакова: города отличались от селений лишь размером.

Но вот в рустаках начинают из общинно-родовых поселений выделяться отдельные большесемейные общины типа патриархальной римской «фамилии»: деревня идет впереди города в развитии общественных отношений. Одновременно обособляется слой аристократических фамилий в рустаках, усадьбы аристократов начинают господствовать над окружающими. Но архитектурно они еще не отличаются от остальных ничем: разделение внутри общинников-рабовладельцев только зарождается, аристократы и остающиеся свободными, хотя и беднеющие, рядовые общинники еще не стали классами-антагонистами, в каких они превратятся при феодализме: феодальными баронами — одни, крепостными — другие. Пока дело так далеко не зашло. Но идет оно к этому.

Параллельно развивается и следующий процесс: усиления отдельных замковых укреплений аристократов и захирения старых городов. Города же нового типа еще только возникают, точнее: еще лишь намечается их прообраз. Это — посадки при крупнейших замках-усадебных аристократов. Ремесленные изделия, изготавливаемые здесь, неизмеримо грубее, чем те, которыми славились города раньше.

Единая государственная система укреплений приходит в ветхость. Зато толще и прочнее становятся крепостные стены отдельных крупнейших замков, все дальше перемещаются эти замки от хвостовых частей арыков к голове канала. Все чаще запустевают земли, расположенные в низовьях каналов...

Интересные сведения сообщают и монеты. Они уже не едины для всего Хорезмского государства, в некоторых местах начинается самостоятельная чеканка — вернейший

признак независимости от центральной власти. Кроме того, уменьшается вес монет, — власть не столь крепка, как прежде. Уменьшается и количество найденных монет — сократилась торговля...

Мы накануне арабского завоевания. Страна внутренне расшатана. Новые общественные отношения, складывающиеся в ней, хотя обязательно в конечном счете победят, так как обеспечивают основное: высшую производительность труда, чем производительность труда рабского, — пока еще не достигли такой ступени развития, при которой прочно сложились бы и новые формы государственности. Такая страна неизбежно окажется побежденной при набеге варваров, военно-демократический строй которых дает им военный перевес над нею.

Так оно и происходит. Арабы в VII—VIII веках завоевывают Среднюю Азию. Хорезм сопротивляется дольше других. Это объясняется тем, что в нем сильнее дают себя знать традиции общинно-родового уклада. Но в конце концов и его включают в систему арабского халифата, — при прямой помощи арабам его феодализирующейся знати, которая стремится использовать захватчиков как военную силу против собственного народа.

Кстати, из-за того, что арабы в качестве государственного языка навязали завоеванным арабский, — причем и в этом хорезмийцы сопротивлялись на протяжении нескольких веков, — впоследствии вся культура завоеванных стран стала именоваться арабской. В какой мере это может быть признано справедливым? В какой мере полуварварская военно-разбойничья мекко-мединская община могла быть ровней в культурном отношении ученым, к примеру, того же Хорезма? Наименование арабской культурой культур хорезмийской, а равно согдийской, бактрийской и т. д. — предшественниц культур народов таджикского, узбекского, каракалпакского, туркменского и других, — было не чем иным, как продолжением того же беззастенчивого грабежа согдийцев, бактрийцев, хорезмийцев и т. д. Естественно, кстати: впоследствии версию об арабской культуре завоеванных арабами народов усердно поддержала буржуазная наука, — в отношении народов Востока буржуазия всегда выступала в том же качестве захватчицы, что в свое время арабы.

Но величественная история Хорезма не закончилась и со временем арабского завоевания. Стойко, длительно,

мужественно сопротивлялся народ Хорезма захватчикам, сопротивлялся и новым формам эксплуатации, на защите которых эти захватчики стояли.

В жестокой, непрекращавшейся борьбе создавалось новое — феодальное — Хорезмское государство. Его расцвет — это X—XIII века, время ал-Бируни, Авиценны, время снова, наконец, укрепившихся торговых связей Хорезма с Восточной Европой, время вновь возникающей по единому государственному плану целой системы крепостей и сигнальных фортов, но рассчитанных уже не на то, что их будет оборонять весь народ, а лишь на отряды воинов-профессионалов. Вновь истончаются стены замков хорезмийской знати: империя хорезмшахов опять стоит на страже всего государства. Она завоевала политическое господство в ряде других областей, она направляет политику Хозарского царства, ее мнение небезынтересно даже киевским князьям, ее монеты пробивают себе путь в Прикамье.

Все это не может не отразиться на повышении общего благосостояния населения центрального ядра империи. Растет торговля, опять расцветают ремесла — на основе труда уже свободного от рабства ремесленника. Замок феодала больше не сравним с усадьбой крестьянина — не только по размерам, но и по архитектуре. На смену прежней суровой, крепостной простоте его пришли пышные декоративные формы, украшение различными башенками, не играющими ни малейшей роли для обороны, и исчезновение башен настоящих...

Хорезм превращается в ядро одной из наиболее ранних и могущественных феодальных империй Востока и наслаждается миром и благоденствием, — правда, за счет резкого усиления классовой борьбы и феодальных усобиц на периферии империи — в Хорасане, в Мавераннахре (междуречье Аму- и Сыр-дарьи). И это противоречие между ядром империи и периферией дало знать себя с роковой силой, когда Хорезм столкнулся с ордами Чингис-хана...

Приняв на себя первый удар полчищ Чингис-хана, Хорезм «разделил с Русью высокую заслугу спасения своей кровью европейской цивилизации...»¹

¹ «По следам...», стр. 322.

Если б достижения Толстова ограничились одним тем, что он обосновал общую периодизацию по векам истории древнего Хорезма: первобытный период, античный, средневековый, — и то, вклад его в историческую науку был бы неоценим. А он, к тому же, разработал и политическую историю Хорезма на протяжении более чем двух тысячелетий! Только направляя свои научные поиски по безошибочному компасу марксизма-ленинизма, можно было достигнуть таких выдающихся результатов в такие подлинно большевистские сроки! Четыре года раскопок до войны да четыре экспедиционных сезона после войны — право, это очень и очень немного, чтобы с пунктуальной точностью нанести на карту целую страну, укрытую тысячелетними песками, а ряд городов к тому еще и раскопать. Толстов же проделал именно это. Только за четыре довоенных года Хорезмская экспедиция открыла около 400 (четырехсот!) памятников, а четырнадцать из них успела подвергнуть основательным раскопкам. За то же время экспедиция проделала свыше 1 500 километров разведочных маршрутов. 1 500 километров нехоженными путями в пустыне! Для этого мало было энтузиазма одних научных работников экспедиции. Шофер Коля Горин — не научный работник. Но если бы он не провел автокараван экспедиции через пески Кызылкумов, если бы он не рискнул двинуть тяжело нагруженные (водой) машины по верблюжьей тропе от Джусалы напрямик через пустыню, — советская историческая наука, наверное, имела бы сегодня меньше заслуг.

Так же, как если бы не работали с величайшим чувством ответственности перед наукой Рузмат Юсипов, Серикбай Оралбаев, Бекдилля Ташпулатов, летчики экспедиции — Пущенко, Поневежский, Яловкин, Губарев, Белый, Рассулов. У экспедиции есть собственная авиagrуппа. Авиаразведка памятников, аэрофотосъемка их и приземление ПО-2 с Толстовым и его помощниками в таких местах, где человеческая нога последний раз ступала полторы тысячи лет назад, стали уже буднями экспедиции. Такыр в таких условиях считается превосходным аэродромом, а ветер в 6—7 баллов — нежным зephyром.

И еще об одном нельзя не сказать, говоря о том, чему обязана экспедиция своими достижениями, — и об этом, конечно, надо говорить с самого начала. Свой автока-

раван экспедиции, своя авиагруппа, сотня рабочих и научных сотрудников — сколько десятков тысяч рублей это должно стоить! А ведь без этой материальной базы Хорезмской экспедиции ни за что бы не добиться своих результатов!

Все это стоит не десятков тысяч, — сотен. Смета экспедиции 1948 года — в несколько сот тысяч (это

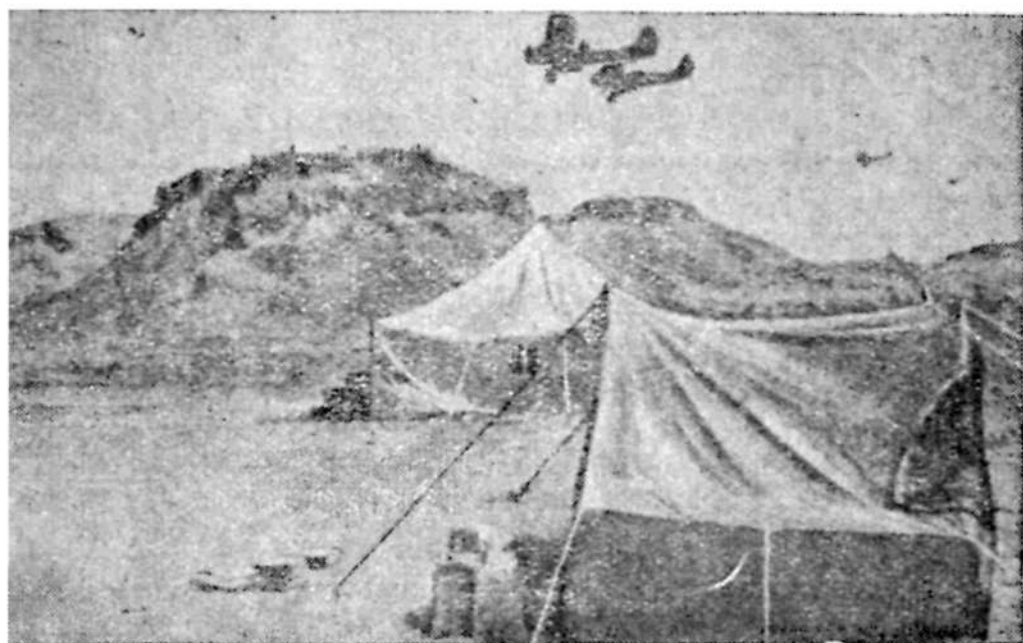


Рис. 12. У экспедиции есть и собственная авиагруппа.

только полевые работы. Стоимость камеральных работ, связанных с находками 1948 года, сюда, конечно, не входит).

Когда американцы в одной из своих археологических экспедиций применили экскаватор, они трубили об этом чуть ли не во всех специальных журналах: вот, дескать, даже на какую сложную механизацию мы, американцы, средств не жалеем!

Для сведения стоит, пожалуй, напомнить, что экспедиция Толстова — хотя и крупнейшая из археологических экспедиций нашей Академии наук в 1948 году, но все-таки только одна из них...

Раскопки 1948 года закончены.

Снова самолет несет меня над Хорезмским оазисом, теперь уже в обратный путь. Снова вьется под крылом

Аму-дарья, плывут дымки над трубами хлопкоочистительных заводов, до самой пустыни распростерлись колхозные сады и поля.

Когда я летел сюда и под крылом показалась пустыня, я не смог различить в ней ничего: глаз тогда еще терялся перед нею. Теперь же кое-что вижу: вот следы запустевшего, наверно еще в древности, арыка; вот от него в стороны разбегаются струйки теней — ответвления его. Он был, значит, магистральным, поил жизнью целый рустак. Вот еще двойной пунктир валов пересохшего и заброшенного канала...

А вот вновь откопанное ложе канала! Еще не выросли ни сады, ни поля по его берегам, — еще не пушена вода в него, — но, тем более, обнаженный, напоминает он сверху нож, всаженный в пустыню.

Присматриваюсь еще внимательней: правильно, для ложа нового канала использовали какую-то древнюю трассу, — на том месте, где свежее ложе кончается, линия валов не оборвана...

В книгах Толстова есть одна выразительная и страшная карта Хорезма: на ней штриховкою покрыты земли, бывшие когда-то благодатными плодородными полями и садами, а затем превратившиеся в помертвевшие желтые песчаные пустыни. Сколько народного труда было вложено в эти, ныне запустевшие земли, сколько счастья могли дать они людям! Штриховка на карте словно душит оазисы.

Но больше душить Хорезм она не будет!

Толстовская экспедиция тщательно отыскивает и наносит на карту все трассы древних каналов. За этой работой экспедиции особенно нетерпеливо следят не только историки, но и ирригаторы среднеазиатских республик, колхозники, плановики, партийные работники — да весь без исключения, народ: а нельзя ли воспользоваться этими старыми, еще предками проверенными трассами, чтобы вновь отбить у пустыни удушенную ею землю? И оживить ее?

Я лечу в рейсовом самолете Аэрофлота. Меня окружают случайные спутники: партруботник, командированный на учебу в высшую партийную школу, заслуженный артист республики, геолог-разведчик, пограничник, получивший отпуск и везущий корзинку гранатов в Мурманск, бригадир рыболовецкого колхоза, летящий в Ташкент за

сетями, и еще один бригадир колхоза, летящий в Ташкент на сессию Верховного Совета Республики.

Обычный рейсовый самолет, обычные пассажиры. Обычные и разговоры идут у нас в самолете.

Геолог-разведчик сердито смотрит в круглый бортовой иллюминатор. Под нами пустыня. Он поворачивается к нам и с сердцем обращается ко всем, хотя ни к кому в отдельности:

— Неужели не наступит, в конце концов, такое время, когда пустыни на земле прекратятся! Это ж возмутительно — как они расплылись!

Хотя он не обращается ни к кому в отдельности, мы согласны с ним все. Никто у нас в самолете не сомневается, что такое время, когда пустыни на земле будут уничтожены, а если часть их и останется, то лишь с разрешения человека — как заповедники, — никто у нас в самолете не сомневается, что такое время, в конце концов, наступит. И пограничник, летящий в отпуск, — самый молодой из нас, — даже добавляет:

— А не доживем ли и мы с вами до этого, товарищи?

...Под крылом самолета плывет Хорезмский оазис...



9 апреля 1949 года Правительство нашей Родины постановило присудить «Толстову Сергею Павловичу, профессору Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова, — за многолетние историко-археологические исследования, обобщенные в научном труде «Древний Хорезм», Сталинскую премию I степени.



ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Телеграмма из пустыни Кызыл-кумы	3
2. У цели. Нукус, пустыня, негры	9
3. Знакомство с Толстовым	15
4. Древние хорезмийцы и индейцы-ирокезы	21
5. Когда у археолога начинают дрожать руки	28
6. Что знает и чего не знает Рузмат	37
7. На переднем крае	48
8. Загадка квадратной Вары и попутно о господине Пойнтоне	61
9. Что такое «везет!»	77
10. «Так революции у греков все-таки были или нет?» . .	84
11. Экспедиция 1948 года закончена	95

Редактор *С. В. Узин.*
Технич. редактор *Д. А. Глейх.*
Оформление художника *В. В. Осокина.*

А 14687. Сдано в производство 12/IX—49 г.
Подписано к печати 29/XI—49 г. Формат
84 × 108¹/₃₂. Тираж 30000. Печатных листов 7.
Учетно-издательских л. 5,61. Цена 1 р. 75 к.
Заказ 1939.

3-я тип. «Красный пролетарий» Главполи-
графиздата при Совете Министров СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

1 р. 75 к.